



Андреа Питцер

**Тайная история
Владимира Набокова**

Издательство «Синдбад»

2013

УДК 929
ББК 84(7)

Питцер А.

Тайная история Владимира Набокова / А. Питцер —
Издательство «Синдбад», 2013

Отстраненный интеллеktуал, чуждый состраданию и равнодушный к человеческой боли – таков сложившийся в массовом сознании образ Владимира Набокова. Филолог и литературный критик Андреа Питцер предлагает нам взглянуть на творчество мастера под совершенно новым углом. Исследуя прозу Набокова сквозь призму его биографии, отмеченной мировыми войнами, революциями, массовой эмиграцией, автор обнаруживает важнейшие детали, до сих пор ускользавшие от внимания читателей. Фрагмент за фрагментом кропотливо воссоздавая внешний и внутренний контуры личности писателя, Питцер заставляет нас увидеть нового, доселе неведомого Набокова – гения мистификации, спрятавшего в своих произведениях историю ужасов двадцатого века.

УДК 929
ББК 84(7)

© Питцер А., 2013
© Издательство «Синдбад», 2013

Содержание

Предисловие	6
Глава первая	10
Глава вторая	22
Глава третья	34
Глава четвертая	46
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Андреа Питцер

Тайная история Владимира Набокова

Andrea Pitzer. THE SECRET HISTORY OF VLADIMIR NABOKOV

Copyright © 2013 Andrea Pitzer

This edition is published by arrangement with Pegasus Books and Andrew Nurnberg Literary Agency.

All photographs credited to the Estate of Vladimir Nabokov are from the Henry W and Albert A. Berg Collection of English and American Literature, The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation.

Copyright © The Estate of Vladimir Nabokov. Used by permission of The Wylie Agency, LLC.

Перевод с английского Екатерины Горбатенко.

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)».

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2015.

* * *

Мечтам и людям потерянного века посвящается

Предисловие

Нева течет с востока на запад, разливаясь широким рукавом, от которого ветвятся каналы Санкт-Петербурга, бывшей столицы Российской империи. Делая сразу за Крестами крутой поворот, река уже более плавной дугой огибает Марсово поле и Зимний дворец, а затем подбирается к стенам Петропавловской крепости, накатывая на дальний берег меньше чем в километре к северу от особняка, в котором прошло детство Владимира Набокова.

Здание, когда-то бывшее домом писателя, а теперь ставшее его музеем, построено на осушенном болоте посреди искусственного острова в сердце искусственного города, воздвигнутого руками рабов и задернутого ширмой барочного великолепия. Каторжный труд и буйство красоты – это ли не аллегория творчества Набокова?

В 2011-м, когда шел четвертый год работы над этой книгой, поиски материала привели меня в родной город писателя. В центре Санкт-Петербурга не так давно отреставрировали многие здания: при виде подсвеченной фонарями панорамы Дворцовой площади или переливающихся всеми цветами радуги луковок Спаса-на-Крови захватывало дух.

Я сразу поняла, что никогда не видела города красивее. И все же в имперском Петербурге есть что-то отталкивающее. С подобным размахом способна строить лишь власть, которой не жаль ни денег, ни жизней.

Те два дня, что я провела в городе, моим гидом была любезнейшая Татьяна Пономарева, директор Музея Набокова. Мы посетили Таврический дворец, в здании которого отец Набокова отправлял обязанности депутата I Государственной думы (царь позволил этому неудачному опыту конституционной монархии просуществовать неполных три месяца). Побывали мы также в бывшем Тенишевском училище, где юного Набокова дразнили иностранцем – за то, что мало интересовался русской политикой. Татьяна показала мне парк, где зимой прогуливались Набоков и его первая любовь Люся, позднее увековеченная в романе «Машенька». Мы прошли мимо дома Веры Слоним – будущей жены писателя, с которой он познакомился в берлинской эмиграции.

В других странах, куда приводила меня работа над книгой, я не раз думала о том, что на судьбе Набокова и его семьи роковым образом сказался не только политический переворот в его родном Петербурге, но и падение демократии в каждой из стран, где он жил в эмиграции, пока наконец в возрасте сорока одного года не перебрался в США. Но одно дело – понимать это умозрительно, и совсем другое – самой покинуть Петербург, Берлин или Париж и представлять, как бежал оттуда писатель, спасаясь от социальных потрясений, преследовавших его, точно проклятье.

* * *

Набокова я открыла для себя, когда училась в колледже, и, помнится, меня оттолкнула его жестокость в обращении с персонажами, которых он называл «галерными рабами». Я не возражала против насилия, откровенных сцен и не внушающих симпатии героев – я даже не требовала, чтобы они становились на путь истинный, – но мне хотелось, чтобы автор испытывал сочувствие к тому, о чем пишет. Пусть бы он как-то показал, что хоть немного любит своих созданий! Неужели в его героях действительно нет ничего, кроме беспрекословного подчинения стилистическому гению автора?

Вернувшись к Набокову уже взрослой читательницей, я поняла, что стиль его ценен сам по себе. Разве может равнодушный к литературе человек не восхититься таким вот пассажем из романа «Подвиг» (в нем рассказана история молодого человека по имени Мар-

тын, вынужденного покинуть родину и безнадежно влюбленного в Соню, которая не отвечает ему взаимностью)?

Мартын не выдержал, высунулся в коридор и увидел, как Соня вприпрыжку спускается вниз по лестнице, в бальном платье цвета фламинго, с пушистым веером в руке и с чем-то блестящим вокруг черных волос. Дверь ее комнаты осталась открытой, света она не потушила, и там еще стояло облачко пудры, как дымок после выстрела, лежал наповал убитый чулок и выпадали на ковер разноцветные внутренности шкапа.

Многие авторы, не исключая и меня, плакали бы от радости, напиши они эти несколько предложений – всего пол-абзаца! – в проходной сцене одной из наименее известных книг Набокова. Чем больше я его читала, тем сильнее становилась моя уверенность: то, что я тщетно искала в его книгах в восемнадцать, там все-таки было, но только глубоко запрятанное.

Позже, когда меня увлекла идея прочесть романы Набокова в историческом контексте его эпохи, многое из этого тайного стало для меня явным – больше, чем я могла себе вообразить.

Сегодня я больше не считаю, что Набоков подвергал своих героев бесконечным издевательствам исключительно ради собственного развлечения, но все же не назову его человеком добросердечным. Жестокость и сострадание идут в его творчестве рука об руку. Чтобы запечатлеть в своих произведениях всю боль своего времени – и личную, и общечеловеческую, – Набоков выбрал нелегкий путь.

Те, кто читал его автобиографию «Память, говори», знают, что писателю чудом удалось покинуть большевистскую Россию, избежать Холокоста и выехать из оккупированной Франции, как знают и то, что его друзья и родственники оказались жертвами политического террора. Их вынужденная немота мешает соотнести события набоковских романов с реальными историческими событиями, в результате чего целый смысловой пласт его творчества остается за пределами нашего понимания.

Эта утраченная, забытая и порой тайная история подсказывает, что под вуалью искусства для искусства, которую Набоков играючи набрасывал на свое творчество, скрывается правдивая летопись четырех трагических десятилетий XX века, пережитых писателем, его истинное отношение к ГУЛАГу и Холокосту.

На уровне конкретики это означает, что судебные дела, записи ФБР и нацистская пропаганда проливают свет на тонкие нюансы в «Лолите». Отчеты Красного Креста раскрывают революционную драму, спрятанную в «Отчаянии». Статьи в *The New York Times* предполагают иное прочтение «Бледного огня». В целом же становится очевидным, что Набоков, неизменно чужавшийся политических тем в публичных высказываниях, в творчестве сберег, будто стремясь спасти от забвения, эхо событий, которые происходили у него на глазах или хранились в памяти.

Пока читатели ужасались и восторгались шокирующими темами набоковских романов и его лингвистической пиротехникой, сами события и правда ушли в тень. Эта книга продиктована желанием извлечь их на свет.

Что, если «Лолита» – это не только эпатажирующая история о растлении Гумбертом Гумбертом двенадцатилетней девочки, но и роман о мировом антисемитизме? Что, если «Бледный огонь» – это признание в любви всем жертвам русского ГУЛАГа? Что, если сорок лет набоковского творчества суть плач о тех, кто боролся за жизнь в тюрьмах и лагерях, опустошивших его мир?

Разным исследователям Набоков являет разное лицо. Нам же хочется рассмотреть лишь одно из них. Это не попытка повторить подвиг других биографов Владимира и Веры

Набоковых: вряд ли это возможно. Это не трактат о бабочках и не изложение взглядов Набокова на жизнь после смерти, хотя обе темы, безусловно, весьма его занимали. Это – рассказ о писателе Владимире Набокове и о мире, в котором он жил; рассказ о том, как история эпохи и семьи претворилась в великие книги.

Уже со второй главы перед читателем разворачивается жизнь Набокова от рождения и до смерти. Поначалу его взросление лишь отчасти соотнесено с началом бурного века. Но вот Европа начинает захлебываться межрасовой ненавистью, ее лик покрывают позорные язвы концентрационных лагерей, и история все активнее вторгается в жизнь и творчество писателя. Значение многих событий, описанных в начальных главах этой книги, становится понятным только к середине, когда речь заходит о первых англоязычных романах Набокова, в которых нашел отражение опыт его переживаний и утрат, позволивший ему из волшебства и праха создавать свои поразительные и пугающие сказки.

Не всем, кого любил Набоков, удалось спастись, и потому история XX века обретает на его страницах личную окраску. В лучших его романах социальная катастрофа неразрывно спаяна с трагедией отдельной личности.

Писатель сумел вдохнуть новую жизнь в традиционный романский жанр: в его произведениях, помимо повествовательного уровня, присутствует своего рода двойное дно – за одним рассказчиком-героем незримо таится другой – рассказчик-автор, которого прошлое мучит куда больше, чем он способен признать самому себе. Внимательное прочтение внезапно открывает нам скрытую за холодноватым стилем пронзительную человечность.

Говоря о судьбе Владимира Набокова, нельзя оставить в стороне и судьбы его современников. Мы коснемся его отношений с Иваном Бунным, который считался властителем дум русской эмиграции, пока Набоков, заговоривший об утраченной родине в неповторимой, уникальной манере, не занял его место. Расскажем о двоюродном брате Набокова Николае – он тоже уехал из России, а потом и Западной Европы, в Америку. Мы расскажем об отчаянии, в которое повергали Набокова восторги Уолтера Дюранти, почти два десятка лет публиковавшего бравурные репортажи о молодом Советском государстве, формируя тем самым позитивное отношение американской интеллигенции к СССР. Мы процитируем отдельные выдержки из переписки Набокова с критиком Эдмундом Уилсоном, разделявшим его любовь к литературе, но имевшим принципиально иное понятие и о литературе, и об истории.

Упомянем мы и о других современниках Набокова – писателях, режиссерах, сценаристах, – которые из благородных убеждений либо ради выгоды всецело посвятили свой талант политике.

А начнем мы, как и закончим, так и не состоявшейся встречей Владимира Набокова с Александром Солженицыным, еще одним знаменитым русским изгнанником, чьи книги лишали покоя читателей всего мира, и убедимся, что у этих двух писателей гораздо больше общего, чем принято считать.

Моим спутником во время первой прогулки по Санкт-Петербургу стал молодой человек по имени Федор, сын преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета. Мне очень хотелось осмотреть главные достопримечательности города, в списке которых первые строчки занимали тюрьмы.

Встретившись в доме Владимира Набокова, мы пошли вверх по течению Невы к Петропавловской крепости, на протяжении столетий служившей узилищем для революционеров, мыслителей и писателей. Один из Набоковых когда-то был ее комендантом. В крошечной темноте маленькой камеры Федор, разыскивая по карманам зажигалку, говорил об истории. Он был настолько юн, что даже советская жизнь воспринималась им как история.

Следующим пунктом в моем списке значился музей-тюрьма «Кресты», где в 1908 году отбывал трехмесячное одиночное заключение отец Набокова.

Федор засомневался – он никогда не слышал о таком музее, – но потом все же двинулся вперед. По дороге мы разговорились, и я поняла, отчего ему не хочется туда идти. «Кресты», объяснил он, это по-прежнему действующая тюрьма, и нормального человека туда не тянет.

Мы шли, пока не уперлись в ограду из красного кирпича. В те времена, когда здесь сидел отец Набокова, тюрьма считалась новаторским сооружением и образцом современного подхода к содержанию узников, но теперь, сто лет спустя, тюремные постройки походили на заброшенные фабрики или доходные дома в сердце какого-нибудь американского городка. На сегодняшний день это самая большая действующая тюрьма в Европе.

Центральный вход нам найти не удалось, но в одном из боковых зданий обнаружилась незапертая дверь. За ней мрачно темнел лестничный колодец. Штукатурка на стенах облупилась, что вполне компенсировалось яркостью граффити. Мы пошли вверх по лестнице. На втором или третьем этаже потянуло едой. В здании было удивительно тихо. Вряд ли нам что-то грозило, но меня не покидало чувство, будто мы забрели в неположенное место или нарушаем некую границу.

Наконец мы оказались во дворе. У двери напротив висела табличка с расписанием приемных часов, а рядом собралась кучка людей – мне бросился в глаза высокий мужчина, державший за руку ребенка. Люди терпеливо ждали встречи, но отнюдь не с экспонатами музея. Я уже знала, что за этими толстыми стенами находятся заключенные, но при виде друзей и родственников, ожидавших свидания, прошлое в моем сознании пришло в сокрушительное столкновение с настоящим, заставив меня направиться к выходу.

Больше в «Кресты» я не возвращалась. В городе, который настолько глубоко врос в историю, прошлое повсюду; он сам по себе музей.

В свой последний день в России я проделала пешком больше двенадцати миль, тщетно пытаясь обойти все места, не побывать в которых было бы просто обидно. Особенно хотелось увидеть бело-розово-полосатую, точно леденец, церковь, которая стоит бок о бок со зданием первого устроенного в Петербурге концентрационного лагеря¹. Кровавая история города нисколько не противоречит его монументальной красоте; они стоят плечом к плечу, составляя части единого целого.

После обеда, попав под дождь, да еще и сбив ноги, я вдруг подумала, что Набоков, сознательно или нет, выстраивал свои романы по образу и подобию Санкт-Петербурга – города, где идешь в музей, а попадаешь в тюрьму (как в рассказе «Посещение музея», герой которого отправляется во французский музей, а попадает в полицейское государство). Видимо, линии и формы литературного произведения тем прихотливей, чем страшнее стоящая за ними реальность.

¹ Речь идет о Чесменской церкви и Чесменском дворце, расположенных в южной части Санкт-Петербурга.

Глава первая В ожидании Солженицына

1

6 октября 1974 года Владимир Набоков и его жена Вера сидели в отдельном кабинете ресторана швейцарского отеля «Монтрё-Палас», ожидая к обеду Александра Солженицына. Писатели никогда прежде не встречались.

Отель, приютившийся на восточном берегу Женевского озера, шестнадцать лет служил чете Набоковых домом. Все эти годы в Монтрё в надежде получить у маэстро аудиенцию съезжались литературные пилигримы. Те, кому выпадало счастье встретиться с Набоковым, спешили задать писателю мучающие их вопросы, получая хлесткие, ироничные ответы. После обеда гости в обществе прославленного кудесника слова пили кофе, чай или граппу и ломали голову над смыслом его загадочных реплик.

Семидесятипятилетний Набоков считал себя русским и американцем, но жил в швейцарской гостинице, продолжая в изматывающем темпе работать над новыми романами и переводами, хотя с тех пор, как мир десять с лишним лет назад потрясла «Лолита», в подобном самоистязании не было никакой необходимости. Набоков давно привык быть в центре внимания и восторженного восхищения – но от сегодняшнего гостя явно ждал чего-то иного.

Утро 6 октября предвещало дождливый день, но Солженицына, ехавшего из Цюриха на юг, вряд ли интересовала погода. Всего восемь месяцев назад, в феврале, он провел ночь в камере следственного изолятора КГБ Лефортово, обвиняемый в измене родине, после чего был насильственно выдворен из страны. Солженицын лучше многих знал, что в жизни есть вещи пострашнее высылки, что уж говорить о непогоде.

Он мечтал об открытом противостоянии с советскими вождями и верил, что давление, оказанное в нужный момент на нужного человека, способно опрокинуть всю репрессивную систему или по крайней мере положить начало ее разрушению. Но его просто-напросто вышвырнули во Франкфурт-на-Майне – ступай, мол, на все четыре стороны. Теперь он огибал Женевское озеро по элегантной Гранд-рю Монтрё, направляясь на встречу с одним из самых знаменитых писателей мира, которого всего два года назад сам выдвигал на Нобелевскую премию. Неудивительно, что Солженицын волновался.

В те времена не существовало ни одного писателя, способного стать вровень с этими двумя литературными гигантами – с автором «Архипелага ГУЛАГ» и автором «Лолиты». Оба русские, но один старше другого на девятнадцать лет, и эти девятнадцать лет развели их по разным вселенным. Совершеннолетие Набокова пришлось на последние дни империи Романовых. Маленький Александр еще не умел ходить, когда Владимир оставил Россию большевикам и под пулеметными очередями отчалил от родного берега. Солженицын вырос в Советском Союзе и, прежде чем прорваться за «железный занавес» со своими разоблачениями царства террора, провел долгие годы в тюрьме и в лагерях.

Не меньше, чем судьбами, они разнились внешностью. Набоков из-за пристрастия к сладкому и благодаря достижениям современной медицины из доходяги-эмигранта превратился в благополучного пухлого профессора. Иное дело Солженицын – шрам на лбу, растрепанная шевелюра, патриаршая борода... Он выглядел если и не устрашающе, то во всяком случае мало респектабельно. Их писательские голоса тоже звучали по-разному. Изыскан-

ный слог и барочные эксперименты Набокова резко контрастировали с неприкрытой яростью Солженицына, безошибочно нащупывающего болевые точки общества. Если «Архипелаг ГУЛАГ» охватывает всю историю советской системы трудовых лагерей, разоблачая чудовищные масштабы злодеяний власти, то в «Лолите» мы видим лишь персональный ад: сознательное истязание одного человека другим.

2

Чего только не говорили о романе, в мельчайших подробностях описывающем сексуальную одержимость взрослого мужчины девочкой-подростком. «Лолиту» называли «смешной», «единственной правдоподобной историей любви нашего века» и «самой скабрёзной из книг, которые доводилось читать». Исповедь Гумберта Гумберта о том, как он в течение двух лет растлевал собственную падчерицу, об их отношениях, ее побеге с другим мужчиной и расправе Гумберта над соперником, написана живым и беспощадным языком. Откровенность, с какой рассказчик говорит о вожделении к ребенку, предопределила судьбу книги: на пути к бессмертию ей было не миновать скандала.

«Лолита» была опубликована в Америке в 1958 году и сразу же вошла в американский список бестселлеров – вошла всерьёз и надолго. К этому времени Набоковым уже не первый десяток лет интересовались критики по обе стороны Атлантического океана. Но только благодаря истории нимфетки – и снятому по ней пикантному фильму Стэнли Кубрика – свершился прорыв от известности к славе. Запрещенный в Австралии, Буэнос-Айресе и Публичной библиотеке Цинциннати роман Набокова за первые три недели в Америке был продан тиражом, повторившим рекорд «Унесенных ветром».

Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» создал уникальную географию Советского государства. Набоков, со своей стороны, щедрой кистью набрасывал в «Лолите» пейзажи послевоенной Америки. Это был другой архипелаг – острова и островки придорожных мотелей, психиатрических лечебниц, гостиничных совещаний, популярной психологии, блуждающих иммигрантов, канзасского цирюльника, однорукого ветерана, супермаркетов *Safeway* и аптек, ханжеских книжных клубов и раздражающей религиозности. Эти чудесные широкоформатные декорации, эти чудаковатые забывчивые персонажи второго плана не хуже солженицынских описаний рассказывают о стране, в которой происходят события. Набоков подготовил идеальную сцену для истории о пороке и предательстве.

После фурора «Лолиты» Набоков продал права на экранизацию и переиздание романа за шестизначные суммы. Ему довелось бывать в Голливуде, где он сталкивался с Джоном Уэйном и Мэрилин Монро (последнюю он узнал, первого – нет). Он оставил работу преподавателя, сделавшись героем комиксов журнала *The New Yorker* и полуночного развлекательного шоу. Во время зарубежных поездок пресса осаждала его, восхваляя на полудюжине языков.

Набокова обвиняли в аморализме («насквозь прогнивший», – возмущался критик в *The New York Times*), но со временем уже его обличителей стали высмеивать за пуританство и старческое брюзжание. Вскоре после выхода «Лолиты» наступила эпоха сексуальной вседозволенности, что, разумеется, не было заслугой Набокова, однако в последующие годы роман воспринимался в совершенно ином свете. К тому дню, когда Солженицын прилетел в Германию, за «Лолитой» выстроился длинный ряд историй о взрослых мужчинах, томящихся по доступным несовершеннолетним партнершам. Редакторы словаря Уэбстера, любимого справочника Набокова, внесли имя «Лолита» в очередное издание, дав ему эксцентричное толкование – «рано развившаяся, соблазнительная, но еще не созревшая девочка».

Лингвистическое богатство и сила воздействия книги были таковы, что она обрела самостоятельное существование и начала обрывать смыслы помимо воли автора.

Напрасно Набоков твердил, что Лолита – одно из самых чистых и невинных созданий в его собрании рабов-персонажей; ничего не добились и Вера, напоминавшая журналистам, как пленная нимфетка каждую ночь засыпала в слезах, – Гумберт сам отмечал еженощные слезы Лолиты.

Кроме профанов, считавших «Лолиту» «клубничкой», а ее творца – склонным к украшательству сочинителем пошлых романов, у Набокова имелось немало почитателей в литературных кругах. Но то был странный фан-клуб. Несмотря на холодное уважение к мастерству автора «Лолиты», самые знаменитые поклонники называли ее создателя *жестоким*. Известная писательница Джойс Кэрол Оутс в 1973 году выговаривала Набокову за «паразитическую способность ненавидеть» и «талант к унижению человеческого достоинства» – и это при том, что ей книга *понравилась*.

Суровый комментарий Оутс был далеко не единственным. И до, и после нее то же говорили другие коллеги по цеху: от Джона Апдайка, который признался, что ему сложно провести границу между черствостью персонажей Набокова и «тягой автора к описанию уродства и боли», до Мартина Эмиса, который десятилетия спустя выразился еще откровеннее: «“Лолита” – это жестокая книга о жестокости». Что бы ни подразумевали подобные высказывания – похвалу или осуждение, – они были не новы: собратья по перу уже сорок лет клеймили произведения Набокова как бесчеловечные.

На волне успеха Набоков перебирается в Европу, но и оттуда продолжает будоражить воображение американцев. Вдогонку «Лолите» выходит «Бледный огонь», академическая сатира, главные роли в которой принадлежат очередному истерзанному педофилу Чарльзу Кинботу и покойному поэту Джону Шейду. Мэри Маккарти на страницах американского журнала *New Republic* назвала роман «величайшим произведением искусства нашего века». Герой публикаций в журналах *Life* и *Esquire* («Человек, шокировавший мир»), Набоков сделался настолько популярен, что после выхода своего пятнадцатого по счету романа «Ада», замысловатой головоломки об инцесте между братом и сестрой, попал на обложку журнала *Time* – «писатель-загадка» с планеты Антитерра в окружении бабочек и кириллических литер. Еще до публикации «Ады» голливудские небожители один за другим летали в Швейцарию в надежде хотя бы полистать рукопись.

С годами мир все больше проникался Набоковым, а Набоков все больше отгораживался от мира. Иногда у писателя возникали мысли переехать куда-нибудь подальше, но в конечном итоге они с Верой так и остались в спокойном Монтрё. Набоков охотно принимал посетителей, явившихся брать у него интервью, во время которых он давал письменные ответы на присылаемые заранее вопросы и пытался урезонить строптивых журналистов, предпочитавших цитировать его устные высказывания.

Набоков с такой же тщательностью стремился расписывать и свои появления на телевидении, пряча карточки со «шпаргалками» в самых неожиданных местах съемочных павильонов – в цветочных горшках и чайных чашках. Собрав все интервью, данные *BBC* и опубликованные в *The New York Times* и других изданиях, писатель перекроил их, как посчитал нужным, и издал «утвержденные» версии отдельной книгой. Свой публичный образ Набоков ваял сам – сдержанный и насмешливый мастер пера, властитель и пленник собственного дара.

Возможно, к тому времени его талант действительно расцвел пышным цветом, но особенно явственно проявилась его страсть к критике. С юных лет Набоков посмеивался над другими авторами, называя Т. С. Элиота «самозванцем и фальшивкой» и презируя нравственные поучения Достоевского (персонажи которого «грехами прокладывали себе дорогу к Иисусу»), Фолкнера (полного «обглоданной трафаретности» и «библейского бурчания») и «мелодраматичного писаки» Пастернака. Впоследствии он точно так же не признавал

Хемингуэя, Генри Джеймса, Бальзака, Эзру Паунда, Стендаля, Д. Г. Лоуренса, Томаса Манна, Андре Жида, Андре Мальро, Жан-Поля Сартра и женщин-писательниц как таковых. Отвергая само понятие «искусства ради искусства», Набоков сделался его олицетворением – ироничным экспериментатором, для которого стиль много важнее морали.

В своем списке наивысших человеческих добродетелей он между добротой и бесстрашием ставил гордыню и в литературных дискуссиях и словесных перепалках орудовал этой гордыней, точно хирургическим скальпелем, – однажды в юности это закончилось для него разбитым носом. Впрочем, если игра шла по правилам Набокова, он проявлял великодушие. А после успеха «Лолиты» у него все чаще и чаще появлялась возможность эти правила диктовать.

Набоков никогда не скрывал ненависти к советской системе, выказывая ее даже демонстративнее, чем презрение к Фрейду (какового никогда не скрывал). При этом он не участвовал в выборах, не стоял в пикетах в поддержку тех или иных кандидатов и не подписывал никаких петиций. Впрочем, в 1965 году писатель отправил сдержанную поздравительную телеграмму президенту Линдону Джонсону, похвалив того за «работу, достойную восхищения». Что именно заслужило похвалу знаменитого писателя – отправка войск во Вьетнам для борьбы с коммунистической угрозой или «Закон о гражданских правах», подписанный в 1964 году? Скорее всего и то и другое. С той же сдержанностью Набоков избегал критиковать методы Джозефа Маккарти, говоря, что они не идут ни в какое сравнение с репрессиями Сталина. В политику писатель предпочитал не вмешиваться. Не случайно он осел в абсолютно нейтральной стране, которая на момент приезда писателя уже сто сорок седьмой год не воевала и которой нередко доставалось за меркантильность и равнодушие.

Апартаменты Набокова на шестом этаже отеля «Палас» в Монтрё напоминали профессорский кабинет. Гостиничная прислуга разыскала для звездного постояльца старинный обшарпанный пюпитр, якобы некогда служивший Флоберу – одному из немногих писателей, которыми Набоков искренне восхищался. Во время работы перед ним лежал Большой словарь Уэбстера, а шорты, повседневная обувь, книги и сачки для бабочек были свалены в углу номера – временного пристанища, сделавшегося постоянным, – словно немые свидетельства добровольного изгнания.

Бесприютность, скитальчество с ранних лет стали лейтмотивом его судьбы. Семья писателя бежала из революционной России. Позднее Набокову удалось спастись из гитлеровского Берлина и оккупированной Франции. В годы войны он, как и большинство европейцев, терпел голод и лишения, но понимал, что это еще не страдание. Катаклизмы истории не сломили его; он их превозмог. Жена-еврейка и сын, появившийся на свет в нацистском аду, уцелели. Казалось бы, чего еще желать человеку, пережившему две войны и революцию? Однако Набокову этого было мало. Он сумел заново обрести себя в другом языке, ошеломив мир изощренной литературной игрой, образами героев, которым нельзя верить на слово, и балансированием на тонкой грани между закономерностью и случаем. Одновременно художник и символ художника, он создавал свои романы без оглядки на какие бы то ни было авторитеты и мнения и стал поистине культовым персонажем. Мода на Набокова порой приводила к курьезам: однажды на Хэллоуин в двери писателя постучалась девчушка лет девяти в костюме Лолиты.

3

Солженицын снискал иную славу – ту, что досталась Давиду ценой сражения с Голиафом: славу борца за правое дело. Опубликованная в 1962 году лагерная повесть «Один день Ивана Денисовича» шокировала Запад и удостоилась одобрения самых неожиданных персон, в том числе тогдашнего советского лидера Никиты Хрущева, использовавшего

повесть для иллюстрации злоупотреблений власти при Сталине. «Пока работаем, мы можем и должны многое выяснить и сказать правду... Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись».

Хрущев, давший зеленый свет публикации повести Солженицына, всего через два года был отстранен от власти людьми, отнюдь не горевшими желанием ворошить преступления прошлого. Партия взялась за старое, включила цензуру и начала изымать из публичного доступа произведения Солженицына. Изъяты были и тайные архивы писателя. Его начали «прорабатывать» на всевозможных заседаниях. Потом сюжет принял и вовсе набоковский поворот: у Солженицына объявился двойник, который устраивал пьяные дебоши и пристаивал на улицах к женщинам, пока друзья писателя не поймали самозванца. Хулигана сдали в милицию, откуда его... благополучно отпустили.

Солженицын упорствовал в своем стремлении писать о недавней русской истории – это была его единственная тема, – и проблемы с властями были ему гарантированы. В 1968 году его книги запретили окончательно. В Союзе писателей СССР, принявшем автора в свои ряды и, подпевая Хрущеву, превозносившем его, занервничали. Что делать с этим непредсказуемым, трудным человеком? Советский лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов, всегда жестко критиковавший собрата по перу, выступил за то, чтобы не просто наложить табу на издание книг Солженицына, но и запретить писателю заниматься литературной деятельностью. И в самом деле, год спустя Солженицына исключили из Союза писателей СССР. Это лишило его возможности публиковаться в Советском Союзе и нанимать помощников. Он остался без официальной работы, что в СССР грозило уголовной статьей за тунеядство. Замаячил призрак близкого ареста.

В знак протеста Солженицын писал открытые письма для распространения в России и за рубежом. В поисках поддержки встречался с друзьями и сторонниками. Тайными путями отправлял микропленки со своими рукописями на Запад, чтобы его книги все же увидели свет.

Травля автора «Одного дня Ивана Денисовича» вызвала огромный резонанс во всем мире. Артур Миллер, Джон Апдайк, Жан-Поль Сартр, Мюриэл Спарк, Грэм Грин, Курт Воннегут и сотни других авторов выступили в защиту Солженицына и осудили решение Союза писателей СССР. Протесты привлекли внимание к судьбе и творчеству Солженицына.

В 1970 году он был выдвинут на Нобелевскую премию по литературе. Лауреаты прошлых лет поддержали его кандидатуру открытыми письмами в Шведскую академию. По результатам голосования членов Нобелевского комитета по литературе из большого числа претендентов выделились два явных лидера – Хорхе Луис Борхес и Александр Солженицын (Набоков получил всего два голоса за). Присуждение награды Солженицыну, которым Нобелевский комитет публично признал «этическую силу литературы», обернулось многочисленными политическими последствиями (возможно, поэтому долгие годы ходили слухи, будто материалы по выдвижению Солженицына готовило ЦРУ).

После объявления победителей Солженицын отправил в Стокгольм благодарственную телеграмму, подтвердив, что примет участие в декабрьской церемонии. Советский Союз тут же объявил премию «позорной», и несколько недель спустя Солженицын написал, что не будет просить разрешения на выезд из страны. Он боялся, что его уже не впустят и он окажется в изгнании.

На церемонии награждения секретарь Нобелевского комитета, памятуя о безопасности отсутствующего Солженицына, зачитал выдержку из советской газеты «Правда» за 1962 год, процитировав один из отзывов на «Один день Ивана Денисовича»: «Но почему же не только горе сжимает сердце при чтении этой замечательной повести, но и свет проникает в душу? Это от глубокой человечности, оттого, что люди оставались людьми и в обстановке глумления».

В нобелевской речи, с которой Солженицын собирался выступить в тот вечер, говорилось: из поколения в поколение ведутся споры, «должны ли искусство и художник жить сами для себя или вечно помнить свой долг перед обществом и служить ему, хотя и непредвзято. Для меня, – утверждал писатель, – здесь нет спора». Решительно отвергая идею «искусства ради искусства», он сделал темой своей лекции «искусство ради человека». В ней он описал, как «в томительных лагерных переброях, в колонне заключенных, во мгле вечерних морозов с просвечивающими цепочками фонарей – не раз подступало нам в горло, что хотелось бы выкрикнуть на целый мир, если бы мир мог услышать кого-нибудь из нас».

Однако нобелевская драма Солженицына оказалась лишь прелюдией к тому, что ожидало его впереди.

К 1974 году у писателя созрел грандиозный план призвать власть к ответу за погибших в лагерях, за узников, сломленных полицейским государством, за современное общество, искалеченное тотальными репрессиями. Он уже давно закончил «Архипелаг ГУЛАГ», но предлагать рукопись издательствам не спешил, опасаясь, быть может, что этот ход полностью поменяет правила игры. Книгу нельзя было «облегчить» или подправить, чтобы «протащить» через официальные каналы. Сам ее замысел – итог четырех десятилетий тиранической несправедливости – был приговором Советскому государству. Стоит выпустить такого джинна из бутылки – назад его уже не загонишь. Писатель медлил и ждал подходящего момента.

Но в КГБ ждать не собирались и попытались местонахождение тайного архива Солженицына у его машинистки Елизаветы Воронянской. Женщину за шестьдесят допрашивали пять дней и пять ночей. Отпущенная под домашний арест, но лишенная возможности связаться с писателем, Воронянская скончалась через две недели. Однако копию рукописи успели переправить за границу, и через три месяца после смерти машинистки «Архипелаг ГУЛАГ» был опубликован в Париже.

В конечном итоге кагэбэшники добрались и до автора. Новость о его аресте в тот же вечер прозвучала в четырехминутном выпуске новостей на американском телеканале *CBS*. Потом последовали мучительные двадцать четыре часа неизвестности. Солженицын в лефортовской камере снова и снова проигрывал в уме варианты противостояния, но его попросту выволокли из тюрьмы, затолкали в самолет и депортировали.

Хотя в драматических событиях тогда не было недостатка – грянул Уотергейтский скандал, поговаривали об импичменте американскому президенту, шли переговоры о выкупе за похищенную террористами богатую наследницу Патти Херст, – однако прибытие Солженицына во Франкфурт в День всех влюбленных стало новостью номер один. Мимо внимания вездесущих журналистов не прошел тот факт, что с 1929 года, когда был изгнан Лев Троцкий, ни одного советского гражданина не выдворяли из страны.

Одна только *The New York Times* в первую же неделю постсоветской жизни русского изгнанника выдала на-гора десятки посвященных ему статей. Репортеров интересовало все, от разговоров писателя с женой до подаренного ему букета цветов. Одежду Солженицына разобрали по ниточкам, каждый его шаг подробно обсуждался в газетах. В конце концов писатель, привычный к преследованиям со стороны прессы совсем другого рода, разразился гневной филиппикой.

Присутствие Солженицына в Германии нарушало тщательно выстраиваемую драматургию разрядки. Из-за шумихи в прессе наметилось охлаждение в отношениях Бонна с Москвой, так что немцам хотелось побыстрее сбыть диссидента с рук. Другие страны оказались храбрее. Шведский премьер Улоф Пальме (оставалось еще двенадцать лет до того, как пуля неизвестного убийцы остановит его сердце) осудил руководство Советского Союза, назвав его обращение с Солженицыным «пугающим примером жестокости и преследований». В тот же день государственный секретарь США Генри Киссинджер, пытаясь удержать

шаткое равновесие в американо-советских отношениях, поспешил заявить, что Солженицына с радостью примут в США, но Америка ни в коем случае не осуждает внутреннюю политику СССР.

В последующие недели СССР обрушил на Солженицына официальные обвинения в измене, сопровождавшиеся глумливыми стишками на газетных полосах. Позднее общественности предъявят фальшивые записи, якобы доказывающие, будто в лагерях писатель был осведомителем. В ответ Солженицын поименно огласил список тех, кто помогал ему в Советском Союзе и за чью безопасность он переживал: молодой помощник, люди, упрятанные в советские психиатрические больницы или исключенные из литературных организаций за связи с опальным писателем. Он основал фонд помощи русским политзаключенным и их семьям и передавал туда деньги, вырученные от продажи книг.

Появление Солженицына на Западе почти сразу после публикации его новой книги породило грандиозную ударную волну, прокатившуюся по миру и открывшую ему, что означает аббревиатура ГУЛАГ. Когда летом вышел наконец американский перевод «Архипелага» с его картинami отупляющего принудительного труда, пыток, казней и умышленного унижения человеческого достоинства в масштабах, которые не укладываются в голове, читающая публика была потрясена. Пользуясь долгожданной возможностью высказать наконец всю правду, автор обличал одно десятилетие кошмара за другим. Джордж Кеннан, фактический архитектор американской политики холодной войны, сразу понял важность книги, назвав ее «самым мощным обвинительным приговором, какой только выносил в наше время человек политическому режиму». На глобальном уровне роман привел к официальному расколу между Итальянской коммунистической партией и Советским Союзом, способствовал популярности антикоммунистически настроенных консерваторов в Америке и дал старт острым публичным дискуссиям во французской политике.

Тема этого произведения никого не удивила. Слухи о нем вместе с загадочным названием просочились в Европу и Америку за несколько лет до выхода самой книги. Но никто, кроме автора, не представлял, насколько она взрывоопасна.

Многие из фактов, приведенных автором, новостями не были: к 1970-м годам пересуды о советских лагерях звучали на Западе уже не меньше полувека. Поговаривали, что в самые страшные годы репрессий за решетку попали миллионы советских граждан и ошеломляющее их количество было казнено. Но книга Солженицына превратила цифры в людей. Автор показал читателю атмосферу страдания, нависшую над страной, куда та жила как ни в чем не бывало, — а в это время инженеры, православные священники, дети, старая гвардия большевистских активистов, уголовники, буржуазные попутчики, «троцкисты», украинцы, поляки, физики, воры, сумасшедшие, возомнившие себя Наполеонами, жены врагов народа и представители интеллигенции, в том числе братья Солженицына по писательскому цеху, были ввергнуты в настоящую преисподнюю. Писатель подробно знакомит нас с географией массового террора: Лубянская тюрьма, прочно засевшая в сердце Москвы, печально известные северные лагеря Воркуты и Колымы; он пишет о поездах, о караванах грузовиков и судов, увозящих людей за тысячи километров к местам лишения свободы, о карательных мероприятиях в засекреченных научных «шарашках», о звериных условиях жизни на лесоповалах, о рудниках, где потом и кровью добывали глину, уголь и золото. Объединив истории сотен очевидцев с собственным многолетним опытом, писатель сумел передать чудовищные масштабы карательной системы, существовавшей параллельно с обществом, затмив широтой описания и собственным авторитетом все прочие источники.

Солженицын напоминал пророка не только внешне: он вжился в эту роль и играл ее с религиозным пылом, не позволяя себе прервать политический крестовый поход. В каждом городе, где он появлялся, на пристани ли, на перроне, вокруг него собирались толпы людей. На северной окраине Парижа в его честь называли улицу. В Германии, Дании, Норвегии и

Швеции, пока писатель искал себе постоянное пристанище, за ним неотступно следовали фотографии. Премьер-министры и президенты высказывались по поводу его изгнания. Уолтер Кронкайт пригласил его дать интервью в специальном выпуске новостей *CBS*. Солженицына признали совестью мира.

4

Слава Набокова, как и Солженицына, во многом явилась отражением его судьбы. В 1919 году, накануне своего двадцатилетия, Набоков бежал из России, оставив позади то, что называл «самым счастливым детством, какое только можно представить». Это фантастическое детство расцветало в роскоши и родительской любви, под опекой армии из пятидесяти слуг и целой вереницы учителей, в поездках на Французскую Ривьеру. Отец Набокова служил при дворе Николая II. Дед был министром юстиции при царях Александре II и Александре III.

По сведениям двоюродного дяди писателя², род Набоковых восходит к татарскому князю, поступившему в четырнадцатом столетии на русскую службу. Даже у домашних питомцев Набоковых были блестящие родословные: одна из их собак приходилась родственницей таксе Чехова.

Набоков родился аристократом и прекрасно чувствовал себя в этом статусе. Угадывая в себе талант, он почти без иронии в тройке любимых авторов называл, помимо Шекспира и Пушкина, самого себя. Но вскоре все блага знатности на его глазах пошли прахом: близкие потеряны, поместье конфисковано, люди, которых он привык считать себе ровней, превратились в жалких беженцев, презренных скитальцев на чужбине. Веру Набокова в собственный талант укрепляло понимание, что в одночасье можно лишиться всего, кроме творческого дара.

Если Набокову довелось испытать изгнание из эдемского сада на грешную землю, то Солженицына детство уберегло от разочарований. По словам биографа Майкла Скэммела, «семейство Солженицыных ничем особенным не выделялось, чтобы отслеживать свою родословную». Александр никогда не видел отца, погибшего на охоте за шесть месяцев до его рождения. Мальчик рос в бедной лачуге, ходил в обносках. Он пережил голод тридцатых, начал пробовать себя в литературе еще в школе; уйдя в 1941-м на фронт, где начинал конюхом, дослужился до звания капитана.

Но потом начались мытарства, перевернувшие всю его жизнь. Солженицына арестовали по нелепейшему поводу – за антисталинские высказывания в письмах, признали виновным и приговорили к восьми годам исправительно-трудовых работ. Он не переставал сочинять и в лагерях, даже когда не имел возможности записывать свои мысли. Солженицын знал, что однажды расскажет обо всем: о России, о ее народе и его страданиях.

Первая опубликованная повесть Солженицына стала снарядом, расчистившим дорогу реформам и десталинизации. Она облетела весь земной шар и поставила имя автора вровень с Толстым, Достоевским и Чеховым. Солженицын поверил, что его будущие произведения могут послужить началом еще более серьезных перемен. Книги, написанные им в последующее десятилетие, так или иначе были связаны с реальными событиями русской истории. Даже в его беллетристике говорилось о незабытом трагическом прошлом.

Разный опыт предопределил разные пути. Оба писателя работали не щадя себя, но Набоков уютно устроился в роскошном отеле, а Солженицын мечтал о деревенской избе в

² В автобиографии «Другие берега» Набоков называет его более конкретно: «двоюродный мой дядюшка Владимир Викторович Голубцов, большой любитель таких изысканий». – *Прим. перев.*

глуши. Если для Набокова гордыня входила в число первостепенных добродетелей, то Солженицын ее боялся. «Нарастает гордость на сердце, как сало на свинье», – писал он.

Однако несмотря на все различия, Набоков и Солженицын каким-то образом пришли к схожему пониманию русской истории и испытывали одинаковую ненависть к коммунизму. Книги Солженицына – это хроника постепенного разочарования, сначала в Сталине, потом в Ленине, это осознание того факта, что корни ГУЛАГа – в пытках и массовых убийствах первых послереволюционных лет. Террор и произвол, доказывает писатель, начались до Сталина, еще при Ленине, на заре Советского государства.

Набоков презирал Ленина не меньше, притом что знал из первых рук, с каким пиететом к «вождю» относятся в определенных литературных кругах Европы и Америки. Эдмунд Уилсон, бывший в свое время лучшим другом Набокова в Америке, сочинил во славу революции целую книгу-панегирик, кульминацией которой стало возвращение Ленина в Россию в 1917 году. Уилсон не скрывал, что надеется однажды изменить мнение Набокова о Ленине. Поэтому нам, пожалуй, не стоит удивляться тому, что Набоков следил за усилиями Солженицына, в пух и прах разносившего советский режим, с мстительным удовлетворением, радуясь успеху, с каким Солженицын «уничтожает самодовольство старых ленинцев».

Впрочем, у Набокова имелись и некоторые опасения по поводу новоиспеченного русского изгнанника. До высылки Солженицына Набоков был уверен, что этот бывший зек как-то связан с КГБ. Как иначе его работы могли выходить в России и попадать на Запад, а сам он при этом – оставаться на свободе? Кроме того, Набоков не слишком высоко ставил литературный дар Солженицына – например, в интервью корреспонденту газеты *The New York Times* говорил о нем как о посредственном писателе, а у себя в дневнике называл его тексты «набором колоритных газетных штампов». Вера ценила литературный талант Солженицына еще ниже, считая его произведения «третьесортными»; однажды в частном разговоре она заметила, что он пишет как сапожник.

После того как Солженицыну присудили Нобелевскую премию, Набоков, сидя летними вечерами на балконе своего номера в «Монтрё-Паласе», зачитывал Вере вслух фрагменты романа «Август четырнадцатого». Журналисты *The New York Times* докладывали, что супруги «хохотали» над «мужицкой прозой» Солженицына и потешались над тем, что бывший сиделец не решился покинуть Россию и получить Нобелевскую премию из страха, что ему не позволят вернуться. Какой нормальный человек захочет вернуться в Советскую Россию? В письме, написанном через несколько дней после выхода статьи, Вера возразила против слова «хохотали», подчеркнула свое восхищение мужеством Солженицына, но признала, что Набоковы невысокого мнения о его писательском таланте.

Солженицын, напротив, безмерно восхищался мастерством Набокова. Нобелевским лауреатам предлагалось называть возможных кандидатов для рассмотрения комитетом, и в 1972 году Солженицын, еще находясь в Советском Союзе, отправил в Академию письмо, в котором рекомендовал присудить премию запрещенному в России Набокову. Отдельно он написал автору «Лолиты» и приложил копию рекомендации.

То ли из-за своих подозрений по поводу Солженицына, то ли из страха навредить диссиденту, но Набоков на письмо так и не ответил. Однако в первый день изгнания Солженицына он отправил летописцу ГУЛАГа записку, приветствуя того в свободном мире. Поддерживая Солженицына в его крестовом походе, Набоков писал: «Начиная со злодейских ленинских времен, я неустанно высмеиваю мещанство советизированной России и обличаю ту самую порочную жестокость, о которой пишете вы».

При всем восхищении талантом Набокова Солженицын не спешил ему верить. Вероятно, он не принимал всей критики, обрушенной Набоковым на Советское государство. В первом томе «Архипелага ГУЛАГ», который Набоков прочитает тем летом, Солженицын рассказывает об одном русском офицере. Офицер удивляется, почему Набоков и другие

писатели-эмигранты молчат о том, как «истекает живыми ранами Россия», и говорит, что они «писали так, будто никакой революции в России не бывало или слишком уж недоступно им ее объяснить».

Мало того, что «Лолита» никак не отражала трагедию революции, она вообще не отвечала понятиям Солженицына о литературе. Набоков экспериментировал и провоцировал, шокировал и озадачивал своих читателей, а Солженицын мечтал написать новую «Войну и мир» о России двадцатого века. В душе он, по собственному признанию, был традиционалистом.

В романах, написанных по-русски, а затем по-английски, Набоков терзал читателя сексуальными домогательствами педофилов и черным злорадством убийц, не говоря уже о черном фарсе – о ребенке, замученном и убитом по ошибке. Он наслаждался причудливой игрой воображения, создавая миры, беспрестанно глумящиеся над персонажами: Лолита, которую изо дня в день растлевают Гумберт Гумберт; поэт из «Бледного огня» Джон Шейд, получающий смертельную пулю за несколько мгновений до объяснения в любви к Вселенной. Набоков сам писал в автобиографии, что его как литератора больше интересует литературная изысканность, чем жизнь или смерть персонажа, даже когда персонаж – реальный человек из его воспоминаний.

Солженицын тоже бился над языком, однако стремился прийти к литературной манере, которая при всей новизне уходила бы корнями в традицию. Вопия о нечеловеческой жестокости советской системы, он все же почитал патриотизм главной своей обязанностью. Вплоть до того, что осуждал тех, кто покинул Россию добровольно, – даже спасаясь от преследований. При этом он неоднократно подчеркивал, что у него самого в этом вопросе не было выбора. Он считал, что долг творческого человека – оставаться на родине и защищать ее идеалы.

Солженицыну очень хотелось, чтобы Набоков обратился к тем же темам. В одном интервью он сказал, что этот русский эмигрант мог бы поставить свой «колоссальный, повторяю, колоссальный талант на службу родине» и «изумительно [sic] писать о нашей революции. Но он этого не сделал».

Солженицын – как и весь остальной мир – не понимал, что Набоков десятилетиями прятал ужасающие эпизоды реальной действительности в дебрях своих фантастических сюжетов. Исторические события, предшествовавшие написанию наиболее известных его книг, задали его творчеству и направление, и форму – Набоков нашел способ претворить прошлое в изысканные литературные образы. Но запечатленные им события оказались забыты настолько быстро, что публикой уже не считывались. Большинство читателей и критиков воспринимало тексты Набокова как литературный эксперимент или пародию, напроочь упуская таящиеся в подтексте мрачные аллюзии на исторические катаклизмы. К тому времени, когда Солженицын направлялся в Монтрё воздать дань восхищения литературному гиганту, Набоков уже не первое десятилетие тонко намекал на них читателям – но тщетно.

Так что не стоит удивляться, что теперь, в 1974 году, Набоков настолько жаждал встретить собрата по перу на свободном Западе, что пригласил его приезжать в любое удобное время. Солженицын с не свойственной ему покладистостью ответил, что судьба привела их обоих в Швейцарию, чтобы они могли наконец увидеться.

Однако осенью, когда Солженицыны предупредили, что 6 октября приедут в «Палас», их записка осталась без ответа. Многократные попытки связаться с Набоковыми по телефону и по почте ни к чему не привели.

Тем не менее Солженицыны решили побывать в Монтрё. В пункте назначения – семиэтажном здании в стиле *belle époque* посреди многонациональной столицы музыкальных фестивалей – издавна останавливались знаменитые актеры и писатели. Когда в отеле появился Набоков, персонал окружил его такой заботой и вниманием, что создатель

«Лолиты» предпочел задержаться здесь до конца своих дней. Но пятидесятипятилетний Солженицын, недавний изгнанник, преследуемый прессой и оглушенный чужой культурой, был тут чужаком. Ждут ли его? Будут ли ему рады? Об этом, наверное, думал автор «Архипелага», завидев подъездную аллею отеля.

А буквально в двух шагах, в забронированном по такому случаю музыкальном салоне, ждали гостей Владимир и Вера Набоковы. Часы еще не пробили полдень. Сквозь трио французских окон, каждое высотой в три человеческих роста, виднелось небо. Погода в тот день хмурилась, и все же солнечный свет проникал в комнату, расплескав три зеркальных озера на узор паркета. Верхнюю часть окон украшали полумесяцы ламбрекенов, их мягким изгибам вторили нити хрустальных подвесок на люстре. Октет золоченых «М» – «Монтрё» – парил по углам потолка, точно аристократический ангельский сонм, окруженный лавровыми венками, чудищами и крылатыми девами с гирляндами.

Столик на четверых был уже накрыт. «Палас» – роскошный отель, здесь Солженицына ожидал такой обед, какого бывший лагерник в жизни не едал. Для встречи с гостями Вера, по своему обыкновению, наверняка надела какое-нибудь простое платье, оттеняющее белое облако волос и голубизну глаз. Набоков, пожалуй, тоже принарядился, по крайней мере выбрал что-то посolidнее бриджей и гольфов, в которых обычно гонялся по горным склонам за бабочками (по-прежнему опережая журналистов вдвое младше себя).

Чего он ждал от беседы с писателем, для которого Россия началась с революции, тогда как для него самого она на ней закончилась? Набоков был готов подробно отчитаться о своем сопротивлении – и в жизни, и в творчестве: как он отверг, несмотря на страстное желание побывать на родине, приглашение вернуться в Союз в качестве официального гостя; как порвал с друзьями, которых упрекал за симпатии к советской власти. Возможно, заговорил бы о Вьетнаме – эта тема расстраивала некоторых его друзей, но встретила бы сочувственный отклик у Солженицына.

Новоиспеченный изгнанник представлялся Набокову собственным уродливым двойником – таким же известным, так же понимающим изначальную порочность советского строя и отвергающим романтику революции. Солженицын сумел показать всему миру, как устроена карательная система, вел летопись ее преступлений – и выжил, чтобы заявить о них во весь голос.

На протяжении пятидесяти лет – всей жизни Солженицына – Набоков бросал вызов этой системе, находясь по другую сторону границы. Если Солженицын страстно мечтал о возвращении, то Набокову вернуться было некуда: его Россия, стертая с лица земли, отныне существовала лишь в его книгах, в укромных уголках его сердца. В 1962 году он объяснил: «Вся Россия, которая мне нужна, всегда при мне: литература, язык и мое собственное русское детство. Я никогда не вернусь. Я никогда не сдамся».

Солженицын считал, что Набоков отвернулся от России и людского страдания, свидетелем которого стал, ради выживания. Но Набоков, ожидавший Солженицына в роскошном музыкальном салоне, невидимо для прочих тоже вел собственные летописи – в стихах, прозе и пьесах, пряча за модернистской пиротехникой и языковой эквилибристикой служение той же цели, какой посвятил свою жизнь Солженицын.

Внутри романов, принесших ему упреки в жестокости, скрывается иная повесть, свидетельствующая о нетерпимости и зверствах. Имена, даты и факты, вплетенные в стихи и прозу, сплетаются в потаенную карту собственных страшных утрат и забытых трагедий двадцатого века в целом. И как в истории семьи Набоковых соединилась история не только Петербурга и России, но и Европы, и Америки, так и в творчестве писателя сплелись вместе красота и ужас эпохи. Уже тридцать лет, как сквозь его страницы проступал перечень всех павших и забытых – даже в «Лолите»! – но не все его видели.

Сумел ли Солженицын разглядеть под надменной аристократической маской ненависть и потаенную нежность? Что он знал о судьбе Набокова, помимо общеизвестного – бегства и скитаний? Что они теперь скажут друг другу?

На втором этаже отеля, к которому подъезжает Солженицын, сидит Набоков. Он ждет.

Глава вторая

Детство

1

Владимир Владимирович Набоков появился на свет последней весной умирающего столетия, 22 апреля 1899 года, в Санкт-Петербурге, столице Российской империи. Тогда эту дату еще не внесли в календари как знаменательную. А между тем в тот же день двадцать девять лет назад родился его тезка – Владимир Ильич Ульянов, ссыльный революционер, который через три года станет известен под псевдонимом Ленин.

Первый ребенок у Набоковых родился мертвым, и поэтому перед родами мать наверняка переживала: Елена Ивановна была женщиной впечатлительной, склонной к тревожности. И если бы материнская нежность могла переломить ход истории, первенец Елены Ивановны стал бы одним из самых счастливых созданий на планете.

Владимир рос в любящей семье, не знавшей материальных трудностей и высоко ценившей культуру. Дом № 47 по Большой Морской достался его матери в приданое. Поколения предков отца, Владимира Дмитриевича, находились на царской службе. Профессор права, любитель оперы и литературы, В. Д. Набоков не только держал великолепную библиотеку – у него была даже собственная библиотекарша. Отца будущего писателя, который, по словам одного из ближайших друзей В. Д. Набокова Иосифа Гессена, «боготворил» своего первенца, отличали страсть к роскоши, увлечение бабочками и бунтарская жилка.

Год рождения Набокова, как и любой другой год в истории человечества, нес в себе семена и надежды, и отчаяния. История не знает четких границ, поэтому все, что было в уходящем веке хорошего и плохого, беспрепятственно перетекло в век новый. Бескрайними, необъятными землями России пятый год правил Николай II. Усилия, приложенные им к созыву Гаагской мирной конференции 1899 года, на которой рассматривался проект создания трибунала для разрешения международных споров и была сделана попытка ограничить употребление «разрушительных взрывчатых составов», вскоре снискали императору номинацию на первую Нобелевскую премию мира. Конференция запомнилась как одна из немногих славных вех в правлении царя Николая.

В Париже начался пересмотр нашумевшего «дела Дрейфуса». Французского еврея по имени Альфред Дрейфус, много лет назад обвиненного в шпионаже в пользу Германии и сосланного на гиблый Чертов остров, вернули в мир живых, чтобы он еще раз предстал перед судом. Той весной появились факты, в свете которых стало понятно, что Дрейфус пал жертвой антисемитизма. Общественный протест вспыхнул с новой силой, но повлиять на судьбу Дрейфуса не смог: несчастного разжалованного капитана повторно признали виновным и только после этого неожиданно помиловали.

На Кубе закрыли основанные испанскими военными «реконцентрационные лагеря» – после того, как стали известны чудовищные условия содержания заключенных, снискавшие губернатору Кубы прозвище Мясника. Тем не менее испанскому изобретению суждена была долгая жизнь. Пока маленький Набоков учился ползать и ходить, одна западная держава за другой устраивали на своих колониальных территориях концентрационные лагеря: США – на Филиппинах, Британия – в Южной Африке, Германия – в Юго-Восточной Африке.

Со временем у Владимира Набокова появятся веские основания задуматься о Ленине, царях, заразе антисемитизма и концентрационных лагерях. А пока младенец, благополучно появившийся на свет на утренней заре, впервые открывает глазки на втором этаже изыскан-

ного особняка из розового гранита, даже не догадываясь, в какой чудесной семье ему привелось родиться.

Младенца окрестили в ближайшей церкви, чуть не назвав по ошибке Виктором. Если православный протоиерей не отступил от канона, значит, новонареченного Владимира погрузили в купель со святой водой, затем крестообразно состригли четыре прядки волос и помазали освященным маслом, чтобы легче было выскользнуть из тисков зла: в жизни, которая ждала крещаемого, не стоило пренебрегать никакой помощью.

Дом Набоковых – четвертый по Большой Морской, если считать от Исаакиевской площади с ее знаменитым собором. Построенный по заказу русского царя и по проекту французского архитектора, самый большой православный храм города соединил в себе элементы античного, византийского и русского стиля – и при этом смотрелся бы органично и в Париже, и в Берлине.

Однако собор, достроенный в 1858 году, был прочно укоренен в болотистой почве Петербурга: чтобы его фундамент не поплыл под тяжестью гранитных колонн и цоколя, под него вбили целый лес – больше десяти тысяч деревянных свай.

Собор вырос неподалеку от набережной Невы, всего в километре от Петропавловской крепости – первого здания, построенного здесь Петром I. Вначале крепость мыслилась как защитное сооружение тогда еще приграничного города, но довольно скоро превратилась в политическую тюрьму. В 1718 году родной сын Петра царевич Алексей поплатился за попытку сбежать из страны, став одним из первых обитателей темницы. Подвергнутый пыткам по приказу отца, он умер здесь в возрасте двадцати восьми лет. Другим известным узником стал старший брат Ленина Александр Ульянов, впоследствии казненный за покушение на царя.

Крепость хранила петровскую столицу, а столица постепенно возвышала род Набоковых. Через сто с лишним лет после постройки Петропавловской крепости ее комендантом был назначен один из двоюродных прадедов Набокова. На этой должности он снабжал книгами арестованного за участие в революционном кружке Федора Михайловича Достоевского.

2

С самого рождения будущий писатель принадлежал не только России, но и миру. Среди его первых воспоминаний – детская кроватка «с подъемными сетками из пушистого шнура по бокам» и мимолетный образ блестящей мокрой крыши во время поездки в дядюшкин замок на юге Франции. Кормилица Володи Набокова жаловалась, что ребенка невозможно уложить спать – он постоянно бодрствует, с любопытством глядя по сторонам. Его каждый день купали в ванне. Не пороли. Когда владение мальчика русским языком еще сводилось к словам «какао» и «мама», он уже читал и писал по-английски. Его гувернантка мисс Норкот влюбилась в женщину, а домашний учитель Ордынцев влюбился в его мать. Володя тем временем строил за спинкой семейного дивана темный тоннель из подушек.

Мать по вечерам читала ему по-английски сказки о рыцарях и прекрасных дамах и повести о приключениях Голливоя, куклы с черным лицом и пуговичными глазами. Позднее он уже сам листал Диккенса и Доде, журнал «Панч» и книги Г. Дж. Уэллса. Начитанный с раннего детства, мальчик увлекался то приключениями Шерлока Холмса, то Конрадом, то Кипплингом.

Володя рос вместе с братом Сергеем, родившимся меньше чем через год после него и ставшим его тенью-близнецом и товарищем по играм. Но первенцу, как водится, досталось больше родительского внимания, чем всем остальным детям. Каждого последующего ребенка – Ольгу (1903 г. р.), Елену (1906 г. р.) и Кирилла (1911 г. р.) – родители окружали

исключительной заботой. Но в отличие от старшего брата они по большей части росли на руках у гувернанток.

Все детство Сережа находился в тени своего яркого брата. Общего у них было мало. Володя унаследовал отцовское увлечение боксом и бабочками, Сережа – любовь к опере. Володя был обаятельным красавцем и экстравертом, а Сережа – застенчивым и нескладным заикой. Тем не менее мальчики играли вместе и под предводительством Володи не раз удирали от своих наставников. Однажды в Германии они – пятилетка и четырехлетка – сбежали из-под надзора гувернантки, сели в Висбадене на пароход и спустились вниз по Рейну. Два года спустя, чтобы скрыться от надоевшей французской учительницы, они в отсутствие родителей учинили побег из загородного поместья, отправившись в пешее путешествие вместе с немецким догом по кличке Турка. Володя шагал впереди, заново протаптывая засыпанную снегом тропинку к проезжей дороге. Когда Сережа продрог и устал, ему было велено садиться верхом на дога. Младший время от времени сваливался с Турки, но братья продолжали свой путь при лунном свете, и отловили их уже за много верст от дома.

Первые десять лет жизни Володя и Сережа делили общую детскую и спали по разные стороны лакированной ширмы. Обоим дозволялось заглядывать в огромную отцовскую библиотеку. Не слишком крупный, но ловкий Владимир любил обогнать брата на «скейтинг-ринге» или подкрасться сзади, когда тот, ничего не подозревая, упражнялся в игре на фортепиано. Сергей проникся любовью к Наполеону и спал в обнимку с бронзовым бюстом французского императора. Заикание с возрастом так и не прошло, мало того, к нему добавилась близорукость, отчего приходилось носить унизительные очки. Друзьями мальчики так и не стали.

3

Несмотря на всю заботу и внимание, Володя часто болел – то ангиной, то скарлатиной, то воспалением легких. Зимой, когда ему нездоровилось, Елена Ивановна садилась в санки, ехала на Невский проспект, в дорогие магазины, и каждый день покупала маленькому страдальцу подарок. Запомнились «гранатово-красное хрустальное яйцо, уцелевшее от какой-то незапамятной Пасхи» и возможность перед сном поиграть с мамиными диадемами и ожерельями, извлеченными из стенного сейфа.

Своим богатством Набоковы были обязаны Елене: ее отец, миллионер Иван Васильевич Рукавишников, происходил из семьи горнозаводчиков. Театрал и меценат, он порой был подвержен приступам ярости, приводившим в ужас дочь и сына. Он умер, когда Володя только учился ходить. Дочери в наследство достались дом в Петербурге и загородное поместье в Выре, в шестидесяти семи верстах к югу от столицы.

В поместье Елена Ивановна писала акварельные пейзажи и собирала грибы. А в Петербурге засиживалась за покером до трех ночи. Эмоциональная с детьми, с чужими она была сдержанной и друзей выбирала осмотрительно – притом что всю жизнь оставалась женщиной нервной и впечатлительной. Не то чтобы истово верующая – в церковь она ходила в Великий пост да на Пасху, – Елена, однако, питала склонность к мистике и всюду видела знамения и таинственные предвестия. Как и Володя, она считала, что буквы и цифры имеют собственный цвет, и верила в ясновидение.

Кроме того, Елена оказалась для сына первым наставником по части манипуляций, демонстрируя на живых людях то, что сын потом проделает со своими героями. Набоков отдал должное ее изобретательности, описывая в автобиографической книге «Память, говори» два эпизода из детства.

В первом Набоков рассказывает, как мать переживала по поводу старой служанки. Как и большинство женщин своего сословия, Елена Набокова не работала. Домашнее хозяйство

тоже мало ее интересовало, и потому она предоставляла заниматься им бывшей няньке, старушке семидесяти с лишним лет, которая родилась крепостной. Слабея умом, та собирала всякий мусор и ревниво охраняла семейные запасы продовольствия, неохотно отмеривая порции даже самим Набоковым.

Жалея свою старую няню, Елена Ивановна делала вид, будто та по-прежнему командует кладовой, хотя на самом деле старуха правила только «каким-то своим, далеким, затхлым, маленьким царством», на которое не посягали, чтобы не разбивать ее иллюзий. Домочадцы знали правду и потешались над старушкой у нее за спиной – да и сама она время от времени начинала что-то подозревать. Но из сострадания Елена Ивановна до последнего обманывала прислугу. Писатель на долгие десятилетия запомнил мамину уловку, как и еще одну, более хитроумную.

К тому времени, как Набокову исполнилось четыре года, его дед по отцу, Дмитрий Николаевич Набоков, повредился в рассудке. Бывший царский министр набивал полный рот камней. Он стучал тростью по полу, требуя внимания, похабно ругался, мог обращаться к слуге как к графу и выбрать бельгийскую королеву. Дмитрий Николаевич был уверен, что ему безопасно жить только в Ницце, на Французской Ривьере. Но его состояние ухудшалось, и врачи порекомендовали возвращаться домой.

Во время очередного «припадка забытья» старика перевезли в Петербург, где Елена Ивановна декорировала одну из комнат под его спальню в Ницце. Подыскивали похожую мебель, а специальный нарочный привез из Франции кое-какие личные вещи. Вазы в комнате наполняли средиземноморскими цветами.

Дело было не только в том, чтобы старик чувствовал себя как дома, – мать Набокова внушила свекру, будто он вообще не переезжал. Уголок стены, который можно было наискось разглядеть из окна, по распоряжению Елены выкрасили в ослепительно-белый цвет, как на Ривьере. Свои последние дни Дмитрий Николаевич доживал в счастливом заблуждении, что находится в безопасной Ницце, а вовсе не в России, которая только что ввязалась в безнадежный конфликт с Японией.

Той же зимой Набоков стал свидетелем того, как друг семьи генерал Куропаткин, сидя на оттоманке в гостиной, начал показывать фокус со спичками, но не успел закончить, потому что его вызвали на фронт. Четыре года спустя украинский гувернер на глазах у Володи заставил-таки исчезнуть монетку. Еще один домашний учитель пытался удивить десятилетнего Набокова картинками волшебного фонаря – стеклянными пластинками, на которых длинные истории сжимались в несколько изображений, а самые незначительные мелочи вдруг обретали грандиозность. Но никакие перевертыши, трюки и фокусы, впоследствии неоднократно упомянутые в стихах и прозе Набокова, не шли ни в какое сравнение с уловками матери, первой на его памяти смешавшей иллюзию с реальностью и окутавшей суровую правду дымкой фантазий ради великодушного, милосердного обмана.

4

Родители так заботливо ограждали Владимира от окружающей жестокости, что его не должны были коснуться драматичные политические события и тот гигантский водоворот, в котором закрутилась жизнь страны.

Определенная отстраненность от общественных потрясений со временем воплотится в его творчестве. Персонажей Набокова, как и членов его семьи, формировала эпоха, хотя далеко не все из них могли вслед за автором похвастать принадлежностью к аристократии. Дед, который умирал в Петербурге, воображая себя на Ривьере, когда-то владел тремястами девяноста душами крепостных. Он был сенатором и министром юстиции при двух Алек-

сандрах – Втором, освободившем крестьян и учредившем независимый суд, и Третьем, который урезал свободы, дарованные предшественником.

Его сын, Владимир Дмитриевич Набоков, родился в Царском Селе, где располагалась загородная резиденция государя, а рос в петербургском Зимнем дворце. На его детство пришлось убийство Александра II и последовавшие за ним еврейские погромы. Он наблюдал за тем, как отец боролся, чтобы в России продолжались хоть какие-то реформы.

Воспитанный в духе либерализма, в юности Владимир Дмитриевич принимал участие в студенческих волнениях и был арестован. Отец мог бы употребить свое влияние и добиться его освобождения, но сын предпочел разделить судьбу товарищей. Окончив университет и став юристом, Владимир Дмитриевич сохранил в душе это обостренное чувство справедливости.

Впрочем, его демократические пристрастия ни в коей мере не касались материальных благ: он с рождения жил в роскоши и любил изысканные вещи. У него было два автомобиля – седан «бенц» и черный лимузин, – а его гардероб соперничал элегантностью с туалетами жены. В доме пользовались исключительно английским душистым мылом; библиотека была заполнена английскими книгами, а душа хозяина – мечтами о британском парламентаризме, который Владимир Дмитриевич надеялся импортировать в Россию. Наделенный аристократической взыскательностью и яростным умом, он посвятил себя борьбе за гражданское равноправие.

Его первенец с детских лет и до последнего вздоха равнялся на отца. Володе, с удовольствием ездившему в спальном вагоне на Ривьеру и собиравшему на пляже цветные стеклышки, еще не было четырех, когда Владимир Дмитриевич сделал выбор, определивший всю его последующую карьеру.

В 1903 году в Кишиневе местная газета напечатала лживую статью, распространив старую как мир небылицу о том, что евреи якобы убивают христиан и используют их кровь для религиозных обрядов. Газета призывала православных, «вдохновляемых любовью Христовой» и почитающих царя, объединиться и «разделаться с гнусными евреями». Погрому, начавшемуся в пасхальную неделю, власти не чинили никаких препятствий. За три дня были убиты сорок девять человек, счет раненых шел на сотни, больше тысячи человек остались без крыши над головой.

Разумеется, выступать с публичными заявлениями на столь болезненную тему без монаршего одобрения не рекомендовалось, но отец Набокова не стал дожидаться высочайшего позволения и честно написал о случившейся резне. В статье «Кишиневская кровавая баня» он обличал антисемитское безумие, утверждая, что оно наносит урон не только евреям: слепая ненависть уродует общество в целом. Автор прямо упрекал власти, с молчаливого согласия которых начался погром, и полицию, не сделавшую ничего, чтобы его остановить.

Антисемитизм в то время глубоко пропитал российскую национальную культуру. Практически во всех гражданских конфликтах и экономических затруднениях, возникавших в стране, спешили обвинить евреев. Неевреев, сочувствовавших евреям, реакционеры изображали предателями и подвергали травле. Поплатился за свою смелость и Владимир Дмитриевич Набоков – он был лишен придворного звания камер-юнкера. Елена Ивановна коллекционировала карикатуры, высмеивавшие политическую позицию мужа. Маленькому Владимиру запомнилась одна картинка, на которой отец «преподносит Мировому Еврейству матушку Россию на блюде».

Благодаря повсеместному распространению телеграфа новость о кишиневской резне разлетелась в считанные часы. О российских зверствах тут же затрубили по всему миру. Общественные организации от Варшавы до Лондона и Техаса осудили насилие; событие

настолько потрясло мир, что даже китайские иммигранты в Нью-Йорке объединились для сбора помощи жертвам Кишинева.

Гораздо меньше внимания широкой публики привлекли другие статьи, которым в последующие десятилетия предстояло кардинально изменить жизни миллионов людей. Одна из газет в родном городе Набокова сообщила, будто обнаружены документы, подтверждающие существование всемирного заговора евреев по завоеванию мирового господства. Впервые о «заговоре» поведала серия статей, опубликованных тем же издателем, которому принадлежала газета, призывавшая к погрому в Кишиневе. «Протоколы сионских мудрецов», фальшивка от первой до последней буквы, расходились по России, подогревая предубеждения и страхи толпы. Вымышленные тексты, скомпилированные из разных источников, неисповедимыми путями попали в Германию и Пруссию, откуда проникли в Россию. Окончательную отделку они, по всей вероятности, получили усилиями царской охранки – российской тайной полиции.

Пока антисемитизм примерял новые маски, ключевой задачей В. Д. Набокова сделалась борьба с нетерпимостью во всех ее формах; позднее эту позицию с не меньшим пылом отстаивал его повзрослевший сын. Владимиру Дмитриевичу претила тактика манипулирования сознанием необразованного населения. Но не только подпитываемый сверху антисемитизм толкал его к протесту против царизма. Он яростно сражался за отмену смертной казни и, хотя считал, что гомосексуализм явление ненормальное, критиковал имперские законы, направленные против содомии.

Отец Набокова был гласным Петербургской городской думы и членом полулегального конституционно-демократического «Союза освобождения». В своей борьбе он был далеко не одинок – либеральные и социалистические идеи активно пропагандировались целыми сообществами русских писателей и мыслителей: от анархо-пацифистов, последователей Льва Толстого, до поборников прямого насилия.

Справиться с подобными общественными настроениями властям не удавалось ни путем ужесточения законодательства, ни нагнетанием (в связи с Русско-японской войной) патриотической истерии. Гражданские права, дарованные в XIX веке, нельзя было просто взять и отменить в веке XX. Когда старый год сменился новым, 1905-м, по Петербургу прокатилась волна протестов. Мирное шествие рабочих, направившихся в январе к Зимнему дворцу, чтобы вручить царю петицию с требованием реформ, наткнулось на плотное оцепление вооруженных солдат. Рабочие отказались расходиться – и тут грянули залпы.

Убегающих от пуль людей преследовали специально стянутые в город войска. Люди прыгали с низких мостов на лед. В городе воцарился хаос: мародеры разбивали витрины фешенебельных магазинов на Невском проспекте и грабили их содержимое. За углом дома, где жил пятилетний Владимир Набоков, на Мариинской площади, солдаты сбили выстрелами ребятишек, забравшихся на деревья.

Многих либеральных журналистов и поэтов – в том числе друга В. Д. Набокова Иосифа Гессена – арестовали и посадили в Петропавловскую крепость. Закрывались газеты. Людям запрещали собираться в общественных местах. Горожане были напуганы и возмущены поведением солдат, которые, как подметили все, разделивались с безоружными жителями куда отважнее, чем с японскими моряками.

Владимир Дмитриевич немедленно осудил побоище и предложил выдать компенсации семьям погибших. Власти восприняли это заявление как крамолу. Либерализм Набокова вдруг перестал быть простительной причудой блестящего правоведа. Даже родная мать осудила Владимира Дмитриевича: она сетовала на некие «темные силы», соблазнившие ее сына, и предвещала, что те приведут его к краху карьеры и нищете.

Волнения продолжались весь год, собирая бесконечные толпы рабочих и парализуя движение транспорта. То и дело вспыхивали и яростно подавлялись вооруженные мятежи.

Погибшие исчислялись уже не сотнями, а тысячами. Когда царь наконец поддался давлению и позволил сформировать Думу – совещательный орган с ограниченными полномочиями, – на политическую арену вышла Конституционно-демократическая партия (кадеты). В. Д. Набокова, одного из ее основателей, избрали членом Центрального комитета. Отец будущего писателя Владимира Набокова, потомок поколений царедворцев, открыто ратовал за преобразование самодержавия, которому веками подчинялась Россия.

5

В ту зиму Владимир и Сергей Набоковы начали брать уроки французского у чрезмерно впечатлительной учительницы из Швейцарии мадемуазель Сесиль Миотон. Если Владимир Дмитриевич надеялся изолировать детей от политических волнений, лучшего способа, чем нанять мадемуазель, и придумать было нельзя. Равнодушная к России и ко всему русскому, она принимала жизнь в чужой стране со стоическим отчаянием. Прячась от повседневных обид, мадемуазель с головой уходила в литературу и жила в мире иллюзорного, но прекрасного прошлого, с которым всегда можно сравнить настоящее и убедиться, что последнее ущербно. Позднее в книге «Память, говори» Набоков посвятит целую главу ее причудам и склонности к мелодраматизму.

Вскоре после приезда мадемуазель семилетний Володя тоже нашел способ бегства от действительности, только он стремился укрыться не в прошлом, а в мире природы. Мальчик страстно увлекся бабочками. В Выре он ловил редких парусников и обычных перламутровок, а затем, расправившись с насекомыми при помощи эфира, пронзал им булавкой брюшко, расправлял узорчатые крылья и укладывал в коробки. Его коллекция бабочек росла в прямой пропорции к общественным волнениям, которые мешали детям вернуться в Петербург.

Той же зимой проходили выборы в I Государственную думу. Революционные партии официально бойкотировали их, позволив победить фракции кадетов в союзе с трудовиками. Отказавшись от официальных думских постов, Набоков тем не менее принимал в работе Думы активное участие: после его блистательной речи об отмене смертной казни депутаты единогласно проголосовали за признание крайней меры наказания незаконной. Были предложены шаги по борьбе с голодом, который прокатился по стране после неурожая военных лет. Кроме того, программа кадетов предполагала создание ответственного перед Государственной думой правительства, ратовала за частичную политическую амнистию, расширение гражданских прав и свобод и передачу части земель крестьянству. Депутаты возомнили себя хозяевами положения – рассказывали, что когда Николай II выступал с речью в Думе, В. Д. Набоков «сидел в первом ряду, вальяжно откинувшись на спинку кресла, сунув руки в карманы и неприкрыто ухмыляясь».

Однако никто не собирался всерьез рассматривать инициативы Думы. Депутаты вынесли резолюцию о недоверии правительству. Царские министры, утверждали они, должны быть подотчетны парламенту. Царь с ними не согласился и... распустил Думу.

На следующий день В. Д. Набоков и еще почти две сотни депутатов собрались в финском Выборге и подписали обращение к российскому народу, в котором призывали не служить в армии и не платить налоги, поскольку правительство без армии и с дырой в бюджете управлять страной не сможет.

То был беспрецедентный акт неповиновения, порожденный безысходностью. Впрочем, своим резким демаршем выборгские подписанты ничего не добились и только навредили собственному делу. По возвращении в Россию они лишились политических прав. Готовились новые выборы в Думу, но подписантам, включая отца Набокова, запретили в них участвовать.

На обоих полюсах политического спектра множились примеры применения насилия. Видного члена партии кадетов Михаила Герценштейна высмеивали в антисемитских политических карикатурах. Давно обращенный в христианство, в глазах реакционеров он оставался участником еврейского заговора, направленного на уничтожение России. В июле его убили. До В. Д. Набокова дошли сведения, что он тоже включен в некий черный список и стоит следующим на очереди. Друзья убедили Владимира Дмитриевича ненадолго уехать из страны.

Но и левые все чаще прибегали к крайним мерам. В партии социалистов-революционеров образовалось террористическое звено, занимавшееся политическими убийствами. Налеты и кражи со взломом, а также нападения на домохозяев и мелких дельцов стали обычным делом. Не брезговали подобными методами и большевики. Владимир Ульянов (Ленин) «заведовал» банковскими ограблениями, организовывал фиктивные браки своих товарищей, чтобы обирать богатых наследниц, и вербовал профессиональных преступников, имеющих опыт незаконной торговли оружием. Одним из его подручных был Иосиф Сталин.

Пока партии выискивали средства и сторонников, в начале 1907 года прошли выборы во II Думу. Отстраненный от политической жизни, В. Д. Набоков выступал на страницах кадетской партийной газеты, продолжая ратовать за либерализацию, способную нащупать срединный путь между реакционным экстремизмом и революцией.

Ленин не участвовал в гонке за парламентские кресла: он боялся возвращаться в Россию. Отвергая призывы к умеренности, он издал памфлет, в котором поименно оскорбил В. Д. Набокова и его сторонников, объявив кадетам войну и осудив их крестьянских союзников. Ленин пригрозил и социалистам-революционерам, которые подумывали о сотрудничестве с кадетами. По его словам, «грязное дело» совершит любой, кто, закрывая глаза на гибель рабочих в страшный день Кровавого воскресенья, поможет провести в Думу «антинародную» партию буржуазных либералов.

Памфлет Ленина перехватили, и множество экземпляров уничтожили, но чаша весов уже клонилась в его сторону. Кадеты потеряли голоса на выборах, и второй созыв Думы получился гораздо радикальнее первого. Через четыре месяца царь ее распустил.

Но Николай II не забыл о дерзости депутатов I Думы. В том же 1907 году бывшие депутаты, подписавшие «Выборгское воззвание», в том числе Владимир Дмитриевич Набоков, предстали перед судом и были признаны виновными в призывах к свержению правительства. Набокова приговорили к трем месяцам одиночного заключения.

Апелляцию отклонили, и Владимир Дмитриевич отправился отбывать наказание в тюрьму, которая находилась всего в нескольких минутах ходьбы от его дома, – в «Кресты». Находясь в заключении, он писал жене Елене ободряющие записки на туалетной бумаге, успел набросать несколько правоведческих статей, выучил итальянский и взялся за Данте. Условия содержания были не самыми худшими: арестанту даже разрешили взять с собой складную ванну. Владимир Дмитриевич всячески преуменьшал тяготы заключения, стремясь показать, что приговор для него всего лишь мелкое неудобство.

К тому времени отец и сын Набоковы особенно сблизились: их объединяла общая страсть к бабочкам. Владимир Дмитриевич, заметив увлечение сына, подарил первенцу драгоценный экземпляр из своей коллекции – редкую бабочку, пойманную еще в детстве. Володя передал бабочку отцу в «Кресты».

Выйдя на свободу, Набоков поехал к детям в Выру и по пути с железнодорожной станции попал на праздник, устроенный в его честь в соседнем селе. Мать Владимира Дмитриевича, отрешившись от его политических взглядов, запретила отмечать в своем имении его освобождение из тюрьмы, но местный школьный учитель, живший рядом с Вырой, все-таки устроил Набокову торжественный прием с красными бантами, синими васильками и сосно-

выми ветками. Коляска Владимира Дмитриевича катилась мимо реки и рощиц, мимо церкви и семейного склепа, мимо нового здания школы и старых изб. Володя выехал встречать отца.

К тому времени он был пламенно увлечен книгами и бабочками и боготворил родных, из которых никто, кроме самых дряхлых, еще не умер. Политический кризис остался позади, но в подсознании мальчика с тех пор прочно поселились образы, которые потом зазвучат в творчестве писателя: бегство, революция, тирания, антисемитизм и неволя.

6

Детские годы Набокова проходили под знаком нежной родительской любви и не очень желанного общества Сергея и гувернанток. Однако по мере его взросления на сцене жизни появлялись новые персонажи.

Брат Елены Набоковой Василий Иванович Рукавишников, «дядя Рука», как его называл Владимир в английских изданиях, обожал юного Володю, буквально души в нем не чаял. Набоков долгие десятилетия помнил, сколько внимания уделял ему дядюшка, как брал его на колени и «со всякими смешными словечками ласкал милого ребенка». «Ласкал» – слово Набокова, и в его воспоминаниях о дяде столько недосказанности, что картина их отношений рисуется весьма туманной, оставляя при этом неприятный осадок.

Знавший пять языков и гордившийся умением разгадывать шифры, дядя Рука посвящал себя неким «дипломатическим занятиям». Он носил экстравагантные костюмы и шубы, охотился с собаками, сочинял романсы и пережил авиакатастрофу – его аэроплан потерпел крушение. Хотя лучшие дядины мелодии заучивал на память Сергей, Василия Ивановича больше тянуло к Владимиру.

Отец Набокова не боялся оставлять сына с Рукой – по крайней мере в присутствии других; в то же время он бывал резок с шурином, выговаривая тому (как позднее будет выговаривать и Володе) за грубость со слугами. И с осуждением смотрел на Василия, когда тот устраивал свои «концерты»: падал посреди ужина на пол и заявлял, что у него неизлечимая болезнь сердца.

Владимир Дмитриевич никогда бы себе подобного не позволил. Он был либералом, но имел традиционные понятия о чести. В печати он критиковал дуэли как феодальный пережиток, но когда в одной газетной статье намекнули, что он женился на Елене ради денег, потребовал, чтобы редактор издания либо немедленно напечатал опровержение, либо готовился принять вызов.

Если бы существовала галерея ролевых моделей, Владимир Дмитриевич представлял бы в ней образец героического отца семейства, которому честь и долг велят служить родине. Рука был другим – меланхоличным гомосексуалом с артистическими наклонностями. При всех дядюшкиных странностях Набокова долгое время задевала снисходительность, с какой к Руке относились даже те, кто ему симпатизировал. Точно в отместку позднее Набоков создал целую галерею эксцентричных персонажей – непонятых и осмеиваемых теми, кто понятия не имеет об их тайной жизни.

Помимо урока сострадания – или хотя бы жалости, – семья дала Набокову самого близкого друга детства, барона Юрия Рауш фон Траубенберга. Сын сестры В. Д. Набокова, Юрий был на полтора года старше Владимира. В юные годы это серьезная разница, и играть с ним Володе было гораздо интереснее, чем с маленьким Сергеем.

Превыше всего Набоков ценил в кузене сверхъестественное бесстрашие. Юрий так же пламенно увлекался оружием, как юный Набоков бабочками. В совместных играх старший оказывался заводилой: мальчишки читали и разыгрывали сцены из романов, паля друг в друга из оружия, арсенал которого разрастался от игрушечных пистолетиков до арбалетов и духовых ружей; под конец друзья щекотали себе нервы, забавляясь с настоящим револьвером.

Опасную игрушку у них конфисковали, но Юрий к этому времени уже достаточно повзрослел, чтобы начать готовиться к настоящей военной службе.

Впрочем, с Юрием Набоков виделся нечасто и большую часть времени проводил один: плакал об упущенных бабочках, покидал товарищей, если с ними было не так интересно, как с Юрием. Да и времени для досуга становилось все меньше. Череду гувернанток сменили наставники – до двенадцати лет Владимир учился дома.

Каждый из домашних учителей, как потом отмечал Набоков, воплощал в себе какую-то грань русского характера, как будто отец задался целью представить сыну все религиозно-культурные типы, населяющие империю. Сельского учителя-толстовца, учившего Набокова в Выре русской грамоте, сменил сын православного дьякона. Вслед за украинским математиком появился латыш, потом польский католик и, наконец, лютеранин еврейского происхождения.

Такая экзотика не всем приходилась по вкусу. Тетки Набокова вели себя в духе его бабушки: обсуждали еврейское происхождение нового воспитателя мальчиков, Филиппа Зеленского, и, когда родителей Набокова не было рядом, норовили поддеть учителя. Сам Володя еще не разбирался в нюансах культурных и социальных градаций; Зеленский стал первым посторонним, к которому у мальчика проснулось чувство солидарности, первым человеком, уязвимость которого он осознал, первым, кого ему еще в детстве захотелось защитить.

В отношении Набокова к воспитателям – и к некоторым членам семьи – всегда присутствовал некий антагонизм. Но если, к сожалению или к счастью, избавиться от родственников было невозможно, то учителя дольше трех лет в доме не задерживались – это был самый большой срок, который требовался, «чтобы вымотать любого из этих закаленных молодых людей».

Хотя с наступлением школьной поры Володя, пожалуй, не раз с ностальгией вспоминал, как вольно ему жилось при домашних учителях. В 1911 году родители отдали его в Тенишевское училище, известное своими передовыми устремлениями и демократичным укладом (в числе его выпускников был Осип Мандельштам). Впрочем, Набоков позже говорил об училище как о типичной школе, отличавшейся только отсутствием дискриминации при наборе учеников разных сословий, национальностей и вероисповеданий.

Владимир прекрасно учился и, несмотря на худобу, уверенно чувствовал себя в спорте. При этом школа открывала ему новые, обескураживающие грани действительности. Впервые в жизни ему приходилось изо дня в день терпеть близость людей, не связанных с ним ни родством, ни дружбой. Ему претило вытирать руки грязными полотенцами в умывальне, а первое групповое путешествие – трехдневная школьная экскурсия в Финляндию – произвело на него совершенно отталкивающее впечатление. Мало того, что интерес Набокова к бабочкам явно раздражал учителя, руководившего группой экскурсантов, так ему еще и пришлось – впервые в жизни – провести двадцать четыре часа без ванны.

Тенишевское Владимир смутно недолюбливал и чувствовал, что учителя платят ему взаимностью. Задачей заведения было воспитывать активных, образованных граждан для будущей российской демократии, и в этом смысле к старшему сыну В. Д. Набокова были особенно пристрастны. К нему часто придирались даже те наставники, которых считали добрыми. Набоков помогает редактировать школьный литературный журнал, но почему он не вступает в дискуссионный клуб? Почему сын В. Д. Набокова не желает ездить в школу на трамвае, вместо того чтобы хвастать перед остальными учениками личным шофером? Владимир чувствовал, что даже позиция на воротах, которую он занимал в тенишевских футбольных матчах, вызывала подозрения и воспринималась как нежелание бегать вместе с остальными мальчиками.

Вероятно, Владимир озадачивал тенишевских преподавателей, но Сергей, казавшийся воплощением подростковой драмы, беспокоил их куда больше. Если Владимир не догадывался о природе этой драмы, то вскоре ему предстояло о ней узнать: роясь в дневниках брата, он обнаружил строки, ясно указывающие на гомосексуальность Сергея. Ошеломленный открытием, Владимир понес дневник воспитателю, а тот передал его родителям мальчиков – так один брат выдал другого. После того как Сергей скомпрометировал себя несколькими романами с тенишевцами, его перевели в другую школу.

Владимир остался, но все время чувствовал давление, ощущал, как его пытаются подчинить тенишевскому укладу. Возможно, впрочем, что это ему только чудилось. Составляя характеристику Набокова, учитель называл его благопристойным и скромным юношей, снискавшим всеобщее уважение.

Набоков упрямо сопротивлялся попыткам вовлечь его в политику. Он не ходил на собрания, не посещал исторические кружки и не вступал в политические дискуссии – избегал всего, что могло сделать его лидером или хотя бы полезным членом грядущего, смутно предощушаемого демократического общества. Несмотря на яркий пример отца, сын оставался аутсайдером.

А ведь в те времена многим казалось, что Россия может уповать только на общественный энтузиазм своих граждан. Эра императоров и королей уходила в небытие, и современникам Владимира предстояло стать свидетелями рождения нового уклада. Но как перейти от царской России образца 1910 года к некоему постимперскому государству? Это был жгучий вопрос эпохи. Перемены, которые казались почти свершившимися, обернулись иллюзией, стоило оппозиции возжелать воспользоваться их плодами.

Набоков не знал, как объяснить учителям, что любая попытка настроить собственную мысль в лад с чужими не только претит его вольнолюбивой натуре – она опасна сама по себе. На вечерних собраниях, столь часто проходивших под надежной крышей особняка Набоковых, дискуссии велись не только на темы, интересовавшие отца, от криминологии до филантропии; здесь порой звучали совсем другие разговоры... Впрочем, впору ли было ребенку разбираться в подобных тонкостях? Некоторые высказывания могли привести к аресту и тюрьме. Некоторые поступки могли аукнуться предательством слуг (в довольно скором будущем швейцар Набоковых Устин лично проводит большевиков к стенному сейфу с семейными драгоценностями). За политические игры приходилось платить высокую цену: в чулане родного дома мог прятаться агент царской охраны. Один такой соглядатай пробрался в особняк в надежде подслушать крамольные антиправительственные речи, а потом на коленях умолял обнаружившую его библиотечаршу хранить молчание. Дом перестал быть крепостью, а те, на кого была возложена задача его охранять, только и ждали случая донести на хозяев в полицию.

Пока Набоков учился в Тенишевке, упорно сопротивляясь навязываемому «общественному служению», его соотечественники продолжали борьбу, но действовали осторожно. Запрещенные партии продолжали тайком собираться, выходили газеты, печатались прокламации. Социалисты ушли в подполье, крупные объединения были объявлены вне закона. Террористическое крыло эсеров было распущено. Большевики под руководством Ленина грызлись с меньшевиками за контроль над марксистским движением в России. Страна вступила в полосу политической нестабильности.

Вот в каком состоянии оказались передовые силы общества через пять лет после того, что мнилось им революцией. Кадетский идеализм зашатался в поляризованном политическом пространстве, где для политиков склада В. Д. Набокова уже, судя по всему, не оставалось места. Кадеты меняли платформу в поисках новых сторонников, но попытки расширить коалицию лишь заводили их в тупик. Требования избирательных прав для женщин настро-

или против них мусульманскую партию, открытая поддержка евреев и других меньшинств не нравилась правым.

И все же Владимир Дмитриевич Набоков не сдал позиций – он принял горячее участие во всколыхнувшем страну деле Бейлиса. В марте 1911 года в Киеве был жестоко убит двенадцатилетний ученик Киево-Софийского духовного училища. Арестованный по этому делу тридцатисемилетний еврей Мендель Бейлис после двух с лишним лет тюрьмы предстал перед судом по обвинению в убийстве христианина ради использования его крови в ритуальных целях. Отец Набокова разоблачал «кровавый навет» в прессе. Его телеграфные сообщения о сомнительных аргументах и уликах обвинения растиражировали газеты *Manchester Guardian* и *The New York Times*. На Владимира Дмитриевича был наложен штраф.

Отвращение к антисемитизму, которое позднее проявится в творчестве Владимира Набокова, воспитывалось отцовским примером. В своих статьях В. Д. Набоков задавался вопросом, почему культурный город представлен практически безграмотными присяжными заседателями (позднее выяснилось, что «случайный» отбор присяжных носил отнюдь не случайный характер), почему обвинения против Бейлиса оборачиваются вердиктом против целой религии, почему нормы судопроизводства постоянно попираются, а «бредни... из антисемитской литературы низкого пошиба» подаются под видом научно обоснованных и принимаются в качестве улик. Отмечая вырождение российского правосудия, Владимир Дмитриевич писал, что еще десять лет назад подобная инсценировка судебного процесса «была бы невозможна».

Обвинение решило сыграть на страхе и предрассудках присяжных. Привели священника и попросили его рассказать о еврейских обрядах. По словам батюшки, выходило, что христианская кровь используется иудеями в таком множестве ритуалов, что корреспондент газеты *Times of London* поразился, как это евреям до сих пор хватает христиан. Американец Джордж Кеннан (племянник и тезка которого годы спустя будет приветствовать Солженицына на Западе) отметил, что в Думе серьезно обсуждается существование иудейской секты, практикующей религиозные убийства христиан. Дебаты были ожесточенными и не предвещали ничего хорошего. Один депутат пригрозил, что если российские либералы не позволят осудить еврея, убившего христианского ребенка, им скоро некого будет защищать, потому что всех евреев перебьет разъяренная толпа.

Эти страшилки звучали столь абсурдно, что их не приняли даже журналисты, поддерживающие сторону обвинения. Многие видные юристы страны подключились к защите подсудимого и опровергали один навет за другим. После почти двухчасового совещания суд присяжных, состоявший из русских православных христиан, вынес вердикт «невиновен» и освободил Бейлиса.

В 1903 году Россия шокировала мир погромами в Кишиневе; следом разразилась позорная Русско-японская война, нанеся жестоким удар по патриотизму и национальному единству народа. Десять лет спустя, когда учителя советовали Владимиру пойти в политику – ради будущего страны! – спираль истории сделала полный виток. Погромщики затеяли дело Бейлиса; годом позже та же некомпетентная власть позволила втянуть себя в войну.

Проблемы, которые поставит эта новая война, царю снова окажутся не по силам. На сей раз, однако, Николай II будет не одинок: безумие охватит большую часть цивилизованного мира. Комментируя процесс Бейлиса, некий газетный обозреватель определил евреев как «исключительно преступную породу» и взмолился: «Упаси Бог Россию от равноправия евреев, ибо оно страшнее огня, меча и открытого вторжения врагов». Вышло так, что желание газетчика сбылось, и с его осуществлением закончилось детство Набокова.

Глава третья Война

1

Летом 1914-го мир вступил в войну, а Набоков стал поэтом. Он уже не первый год сочинял стихи, но в то лето, когда убили эрцгерцога Франца Фердинанда, Владимиром овладела своего рода лихорадка, от которой он не излечится уже никогда. Позднее эта метаморфоза прочно свяжется в мыслях Владимира с беседкой посреди узкого мостка в летнем имении Набоковых, где ромбы витражей горели, точно драгоценные камни, в решетке окна недо-ставало нескольких стекол, а на побелке предвестником грядущего катаклизма чернела надпись: «Долой Австрию!»

Впрочем, пятнадцатилетнего Набокова слишком надежно укрывали от вихрей истории, и Первая мировая война его практически не затронула. Те шесть лет, на которые Уилфред Оуэн – трагический поэт Великой войны – был старше Владимира, пропастью пролегли между двумя поколениями. Вскоре Набоков обратится к образам людей, чьи жизни сломала европейская бойня, но военным писателем так и не станет.

Зато станет в непредсказуемом порыве вдохновения писать романтические стихи. Он вспоминал, как сочинял и многократно переделывал в уме свое первое настоящее стихотворение и, лишь отшлифовав каждую строчку, решился прочесть его матери, которая, как он и надеялся, растроганно прослезилась.

В июне приехал погостить двоюродный брат Юрий, рассказавший, что у него, шестнадцатилетнего, амур с замужней графиней и генеральской женой. Следующим летом у Набокова тоже вспыхнул роман – с Люсей Шульгиной, пятнадцатилетней петроградской барышней, отдохавшей на даче в Рождествено. Август 1915 года пролетел для Набокова в упоении тайных свиданий, происходивших в дядиной рождественской усадьбе. Питался он одними фруктами, которые буфетчик по распоряжению матери каждую ночь оставлял для него на освещенной веранде. Мать переписывала любовные стихи, которые читал ей сын, в особый альбом, но вопросов, боясь разрушить то ли его, то ли свои иллюзии, не задавала. Отец, более практичный или же более подозрительный, подвергал сына-подростка неприятным расспросам, опасаясь, как бы тот не стал раньше времени папашей.

Владимир был охвачен вдохновением и любовью, а Европу охватило пламя братоубийства. В войну вступали все новые страны, и Владимира Дмитриевича как прапорщика запаса мобилизовали в пехоту. Елена Ивановна устроила лазарет для бойцов и принимала в его работе личное участие, однако считала свою помощь раненым ничтожной в сравнении с их нуждами. И сокрушалась, что эти вчерашние крестьяне, как им ни помогай, в душе сохраняют привычное раболепие.

Война вызвала в России всплеск патриотизма, о чем десятилетиями мечтал Николай II. Санкт-Петербург переименовали в Петроград: как может столица называться по-немецки? Владимиру Дмитриевичу пришлось забыть о своей политической деятельности.

Европа впала в паранойю. Британский парламент обсуждал якобы действующую в стране шпионскую сеть. Немцы боялись, что депортированные Россией соотечественники ведут подрывную работу против своей родины. Подозрения заразили весь континент, дав повод «импортировать» концентрационные лагеря из далеких колоний в породившую их Европу.

Сотни тысяч ни в чем не повинных гражданских лиц – как мужчин, так и женщин – награждали позорным клеймом «пособников врага» и арестовывали. За первый год войны Британия изолировала больше тридцати двух тысяч немецких, венгерских и австрийских мирных жителей призывного возраста. В немецких лагерях находилось больше ста тысяч французов, британцев и русских. В России к 1917 году интернировали свыше трехсот тысяч гражданских лиц родом из Германии и других центральноевропейских держав. Мирных жителей держали в тюрьмах и лагерях во Франции и Соединенных Штатах, Австрии, Венгрии и Румынии, Египте и Тоголенде, Камеруне и Сингапуре, Индии и Палестине, габсбургских землях и Болгарии, Сиаме и Бразилии, Панаме и Гонконге, Австралии и Новой Зеландии. Учреждения, существовавшие до рождения Набокова разве что на Кубе, расплозились по всему земному шару.

Изначально предполагалось, что в подобных лагерях будут собирать подозрительных личностей, допрашивать и явно невиновных отпускать. Волны освобождений действительно время от времени прокатывались по лагерям, но систематического характера процесс реабилитации не приобрел. Зачастую в семьях, живших по разные стороны границы, люди понятия не имели, куда девались их родственники, связь с которыми терялась навсегда. В некоторых странах гражданские заключенные, по большей части верные своему государству, посадившему их за колючую проволоку, годами существовали на грани голодной смерти.

Гражданство или подданство вражеской страны были самыми распространенными поводами для ареста и интернирования, хотя порой действия властей воюющих государств поражали нелогичностью. Так, родился В. Д. Набоков не от немецкой матери и русского отца, а от русской матери и немецкого отца, он тоже мог бы стать кандидатом на отправку в лагерь.

Впоследствии лагерь Первой мировой возродится в еще более мрачном воплощении, и это непосредственно коснется семьи Набоковых. Впрочем, для России это будет не в новинку: карательная система в стране имела глубокие корни, сибирская ссылка вкупе с каторжным трудом веками были ходовым инструментом имперского правосудия. Правда, теперь людей будут арестовывать и годами держать в изоляции без права переписки просто как потенциально опасных противников режима.

Отгороженный от войны родительской заботой, поглощенный первой любовью, Набоков все-таки заметил появление в России концентрационных лагерей; позднее он опишет их в одном из ранних романов. Тогда мало кто оценил его внимание к этому историческому факту. Прошлого рассказчика надолго останется для читателей загадкой, ибо не успеет после окончания Первой мировой войны пройти и двадцати лет, как о лагерях забудут.

2

Любовь Владимира и Люси пережила угрюмую петербургскую зиму 1915 года благодаря редким встречам (когда им почти не удавалось побыть наедине) и стихам, которые продолжал сочинять Набоков. Весной Люся болела за него на футбольном матче, а летом в идиллической и привольной дачной обстановке их роман возобновился.

Набоков увековечил свою первую любовь, издав сборник посвященных ей стихов, – дерзкая попытка заявить о себе миру. Разумеется, не лишенная тщеславия. В ту пору многие подростки мнили себя новыми Пушкиными, но мало у кого находились деньги, чтобы заплатить издателю за первый шаг навстречу мечте.

В Тенишевке подобную заносчивость наверняка сочли не слишком демократичной. Преподававший литературу Владимир Гиппиус (тоже писавший стихи) устроил Набокову разнос, какого не выдержал бы даже самый уверенный в себе человек: он раздобыл сборник юного поэта, принес его на урок и высмеял перед всем классом наиболее личные романтич-

ные строки. Позднее Владимир вспоминал, что книгу «растерзали те немногие рецензенты, которые заметили ее». Даже если эти отзывы Владимиру Дмитриевичу не показались убедительными, он вынужден был прислушаться к своему другу Иосифу Гессену, признавшемуся, что сборник его огорчил. Кузина Гиппиуса, Зинаида, слывшая недурной поэтессой, заявила отцу Набокова, что Владимир «никогда, никогда писателем не будет».

Тем летом в Выре Набоков виделся не только с Люсей, но и с приехавшим на неделю в гости двоюродным братом Юрием. Как-то раз в саду молодые люди придумали забаву с качелями: один ложился на землю, а второй раскачивался на доске, в самой нижней точке пролетая в нескольких сантиметрах над лицом лежащего. Сменяя друг друга, они учились подавлять страх, когда на них с огромной высоты с нарастающей скоростью неслись качели.

После они, как обычно, отправились на прогулку в деревню. Только теперь, шутки ради, поменялись одеждой. Юрий облачился в костюм из белой фланели с полосатым галстуком, а Владимир примерил юнкерский мундир кузена. Они сходили в село и обратно, а потом снова переоделись – мальчик-поэт и мальчик-солдат, отпрыски одной из самых многонациональных в мире культур, каждый на пороге своей неповторимой судьбы и славы.

3

На третий год войны в Париже умер дядя Рука. Канули в небытие его жалобы на сердце (оказавшиеся пророческими), щегольские трости, туфли на высоком каблуке, отцовская к нему нелюбовь и дядюшкина привязанность к племяннику Владимиру. Юный Набоков унаследовал загородный дом в Рождествено, семьсот десятин земли и состояние, которое делало его миллионером. По завещанию, составленному загодя, кое-что досталось также Ольге и Сергею, однако Владимира Дмитриевича вовсе не радовало, что на заносчивого сына внезапно свалилось такое богатство.

Вопреки романтическим канонам, к тому времени, как у Набокова появились собственные средства, он потерял любимую девушку. Ближе к осени Набоков и Люся начали отдаляться друг от друга. Судя по всему, молодых людей попросту развела жизнь. Люся пообещала матери, что займется поисками работы; Владимир вернулся в Тенишевское училище. Предполагаемая женитьба, в которую Люся, кажется, верила еще меньше, чем он сам, так и не состоялась. Владимира увлекла череда любовных интриг: от приключений на одну ночь до более серьезных отношений, причем первое не всегда исключало второе.

Тем временем для многих русских людей жизнь катилась вниз по столь же крутой траектории, по какой Набоков совершал свое волшебное восхождение. За самую большую армию (численность ее личного состава превышала двенадцать миллионов человек) Россия платила соответствующим числом потерь. В общей сложности война унесет около двух миллионов жизней россиян – итог, с которым сравнимы только потери Германии. При такой страшной статистике стихийный патриотизм, наблюдавшийся в первые месяцы боевых действий, ожидаемо пошел на спад.

В конце 1916 года недовольство политикой царского режима стремительно нарастало. То и дело вспыхивали стачки и антивоенные митинги. В феврале петроградские ткачихи устроили манифестацию, протестуя против военных ограничений и требуя увеличить хлебный паек. К ним присоединились рабочие военных заводов. Сначала более ста, а потом и более трехсот тысяч бастующих вышли на улицы города. Полиция не сумела восстановить порядок, вызвали гвардейские полки. Но и это не помогло. Солдаты взбунтовались и отказались стрелять по демонстрантам.

Протестующие заняли Невский проспект. Через двенадцать лет после ареста руководителя Петербургского совета Троцкого меньшевики возродили эту запрещенную организацию и поддержали требование низложить монархию.

Если война для Владимира Набокова проходила где-то за кулисами, то революция разворачивалась непосредственно на авансцене. В 1905-м с деревьев перед Исаакием попадали сбитые ружейными залпами дети, а в марте 1917-го на площадь вышли взрослые мужчины, готовые пролить на брусчатку еще больше крови, но победить там, где они проиграли двенадцать лет назад.

Квартал Набоковых, где находились собор, Военное министерство и здание Адмиралтейства, был последним рубежом, на котором пока сдерживали натиск революционных сил. Осажденные чиновники лихорадочно слали на фронт депеши, надеясь получить хоть какую-то поддержку вдобавок к той, которую обеспечивали последние верные царю полки, сосредоточенные вокруг Исаакия.

Однако помощь не приходила. На Большой Морской стреляли. Над Адмиралтейством вывесили красный флаг. За уличными перестрелками и столкновениями, которые то вспыхивали, то стихали в революционном году, Набоков наблюдал со второго этажа. Из эркерного окна материнского будуара он видел, как два солдата, перебежками добравшись до трупа мужчины, перекладывали его на носилки, отбиваясь от мародера, стаскивавшего с мертвого сапоги. Россия воевала уже третий год, но в своих воспоминаниях Набоков отметит, что тогда впервые увидел убитого человека.

В конечном итоге война и порожденные ею нехватка продовольствия и репрессии спровоцировали то, чего удалось избежать больше десяти лет назад. Петроград поднял мятеж. Царя в столице не было, но всем стало ясно, что время его власти кончилось. Николай II, Император и Самодержец Всероссийский, отрекся от престола в пользу сына, но затем изменил решение и отдал престол брату, великому князю Михаилу Александровичу. Николай понимал, что ему, скорее всего, придется уехать из России, и не хотел оставлять несовершеннолетнего, больного гемофилией сына во главе государства.

Михаил от императорской короны отказался. В. Д. Набоков, юридический авторитет которого был непререкаем, помогал составить акт о «непринятии престола», передававший власть – до проведения выборов – временному органу управления. 16 марта 1917 года более чем трехвековому правлению Романовых пришел конец.

Петроградский совет издавал приказ за приказом; оппозиционные партии занялись формированием Временного правительства России. В первые дни после революции в Петроград вернулся из ачинской ссылки, седьмой по счету, Иосиф Сталин. Он был одним из руководителей ЦК РСДРП, членом редколлегии газеты «Правда» и поначалу поддерживал Временное правительство.

До Ленина, жившего тогда в Цюрихе, доходили слухи о революции, но он отказывался им верить. После сибирской ссылки он почти не бывал в России, однако теперь понимал, что должен немедленно вернуться. В телеграммах, летевших в Петроград, он снова и снова повторял, что революционеры не должны идти ни на какие уступки – ни при каких обстоятельствах нельзя поддерживать решения, допускающие продолжение войны.

Война оставалась жестокой реальностью, с которой приходилось считаться. Чтобы вернуться в Россию, Ленину требовалось пересечь территорию, на которой он считался пособником врага, подлежащим аресту и содержанию в концентрационном лагере. Примерив тюремную робу в 1914-м, Ульянов не горел желанием повторять опыт. Он предложил, чтобы его включили в списки обмена пленными: Временное правительство потребует, чтобы его беспрепятственно пропустили через немецкую территорию, а взамен отпустит немецких граждан. Однако друг Набокова, министр иностранных дел Павел Милюков, хлопотать о возвращении Ленина отказался.

Ленин воспользовался другими каналами и обнаружил, что немцы (несомненно, представлявшие, какое воздействие он окажет на трещавшую по всем швам империю) рады гарантировать ему и другим политическим эмигрантам беспрепятственный транзит по своей территории. Таким образом, вместо того чтобы попасть в немецкий лагерь, Ульянов свободно проехал по стране, по дороге, чтобы наверстать упущенное время, читая газеты. Временное правительство, управляющим делами которого назначили В. Д. Набокова, пребывало в уверенности, что после такого путешествия Ленин будет дискредитирован как немецкий шпион, и не предприняло никаких мер, чтобы помешать его возвращению.

Когда поезд Ленина прибыл на Финляндский вокзал, на перроне его встречали тысячи ликующих соратников и почетный караул матросов. Но Ленин негодовал на своих однопартийцев. Вместо поздравлений, которых ожидали большевики, они выслушали заявление Ленина, что их одурачили. Шагая по перрону к выходу, он пренебрежительно отмахнулся от соратника-социалиста, умолявшего о сотрудничестве. На привокзальной площади Ленин забрался на броневи́к и провозгласил, что в первую очередь нужно лишить всякой поддержки Временное правительство. Ленинская партия большевиков и кадеты В. Д. Набокова десять лет вместе сражались против царского самодержавия, но общих позиций так и не выработали. Теперь, когда царизм ушел в прошлое, будущее России оказалось открыто всем ветрам.

4

Когда над Россией сгустились революционные тучи, Лев Троцкий тоже находился за границей. Отречение царя от престола застало его в Нью-Йорке, где он занимался журналистикой. Он спешно засоби́рался домой. Его корабль вышел в рейс по расписанию, но был задержан в канадском порту Галифакс, где Троцкого, его жену и сыновей сняли с судна. Троцкий и еще пятеро российских социалистов были интернированы в концентрационный лагерь под Амхерстом. Лагерем руководил британский полковник, ветеран бурской войны. «Вот вам и британская демократия», – писал Троцкий.

Вместе с восемьюстами пленными немецкими матросами и группой гражданских лиц, интернированных как пособники врага, он был помещен за колючую проволоку, в ветхое здание бывшего чугунолитейного завода. Троцкий отчаянно протестовал. Какие обвинения ему предъявляют? Никакой он не пособник, а мирный житель, преступлений не совершал. Лев Давидович пытался связаться с Временным правительством через российского консула в Монреале, писал британскому премьер-министру – тщетно. Министр иностранных дел России Павел Миллюков потребовал было его освобождения, но через два дня передумал и отозвал запрос.

Слухи об аресте Троцкого просочились за пределы Канады, и по всему миру зазвучали призывы освободить его. Когда новости дошли до Петрограда, британский посол объявил Троцкого германским агентом. Временное правительство стояло перед дилеммой: учитывая, что Троцкий отрицает полномочия и без того шаткой действующей власти и, вернувшись, попытается ее свергнуть, стоит ли идти навстречу своим более радикальным союзникам и ходатайствовать о его освобождении?

Военные действия продолжались – Временное правительство не планировало выхода России из войны. Троцкий, выступавший за прекращение бойни, представлял серьезную угрозу. Но давление общества, жаждавшего его освобождения, было слишком сильным. Через месяц после того, как судно Троцкого вышло из нью-йоркской гавани, Льва Давидовича выпустили из лагеря. К маю он вернулся в Петроград.

В первые дни по возвращении на родину Троцкий написал памфлет о своем пребывании в концлагере. Подобно Владимиру Набокову, он навсегда запомнил лагеря Первой мировой, но использовал эти воспоминания гораздо раньше и в более жесткой форме.

Не успел закончиться один кризис, как начался другой. У солдат Временное правительство не пользовалось особой поддержкой, потому что выступало за продолжение войны. В ходе июльского кризиса кадеты, включая В. Д. Набокова, вышли из состава правительства. Немедленно вспыхнуло большевистское восстание, и лишь в последний момент его удалось подавить силами кавалерийского полка, сохранившего верность Временному правительству. Поговаривали об аресте Ленина. Троцкого в самом деле арестовали и отправили в «Кресты», где несколько лет назад сидел В. Д. Набоков. Однако, как пишет Набоков, от «ликвидации «Ленина и К°» правительство отказалось.

В результате восстания социалисты добились новых уступок, и во главе правительства встал Александр Федорович Керенский. Коротко стриженный, близорукий, вспыльчивый, Керенский делал судорожные попытки то успокоить народ, то вдохнуть в правительство достаточно веры, чтобы оно протянуло до осенних выборов.

С первых дней работы управляющему делами Временного правительства В. Д. Набокову мало верилось в его успех. Правительство ежедневно подвергалось нападкам со стороны тех, кто считал его некомпетентным, а его деятельность – пагубной для державы, как и тех, кто видел в его стремлении к стабильности страх перед социальными переменами.

Перспективы демократии в России виделись той осенью в настолько мрачном свете, что у В. Д. Набокова, всю жизнь боровшегося против смертной казни, дрогнула рука и он поддержал введение высшей меры наказания в армии, которую, как ему казалось, наводнили революционные агитаторы. В сентябре он с изумлением слушал яростные прения, вспыхнувшие среди политических лидеров по поводу того, следует ли запретить пришивать на мундиры старые пуговицы с изображением двуглавого орла. Сперва надежды России обманули цари, а теперь – Временное правительство. Всенародные выборы Учредительного собрания опять откладывались, на этот раз до ноября.

В тот год в сердце терпящей крах империи Владимиру Набокову исполнилось восемнадцать. В ее руинах уже начинало зарождаться будущее России, и до новых концентрационных лагерей оставалось не больше года.

Тем не менее творившаяся в стране неразбериха задевала Набокова только вскользь. Позднее он вспоминал, что за нежелание принимать участие в политической жизни России тенишевские учителя и одноклассники называли его иностранцем. Ничего примечательного с ним не происходило. В мае петроградские врачи сделали ему операцию по удалению аппендикса; летом он, как обычно, отправился в Выру. В Петроград Владимир вернулся вместе со школьным товарищем. Он продолжал писать стихи, воспевал свою новую любовь – утонченную Еву Любржинскую, которую встретил в Финляндии накануне революции.

Если те, кто, в отличие от молодого Набокова, интересовался политикой, ждали, затаив дух, выборов, то история и большевики ждать не собирались. Временному правительству верили все меньше, и в первую неделю ноября отряды большевиков, взяв под контроль все стратегические пункты столицы, предприняли новую попытку захватить власть. Следующим утром выяснилось, что у Керенского, заявлявшего, что он располагает силами, способными подавить подобный мятеж, вообще нет никакой поддержки.

В. Д. Набоков отправился в Зимний дворец, желая понять, что собирается предпринять правительство. Узнав, что делать никто ничего не собирается, он ушел. Через несколько минут в здание ворвались большевики. Дворец опечатали, правительство распустили, а его членов отправили в Петропавловскую крепость. Великой битвы за контроль над городом и Россией не вышло. Никто не встал грудью на защиту правительства и его лидера. Алек-

сандра Керенского видели в открытой машине, которая мчала его к югу, вон из Петрограда. Власть захватили большевики.

Отец Набокова остался в Петрограде в качестве главы избирательной комиссии, отказываясь признавать власть большевиков и до последнего возлагая надежды на волю избирателей. От выборов, которых многие ждали с таким нетерпением, отмахнуться было непросто.

По всей России продолжались мародерство и передел собственности. Ночами, засиживаясь над поэтической тетрадью, Набоков слышал треск пулеметных очередей. Однажды днем во время беспорядков в окно первого этажа в дом проникли вооруженные люди: они решили, что Владимир, который просто колотил отцовскую боксерскую грушу, стреляет по ним. Слуга убедил их не мстить юноше, чем спас Володю от политической расправы.

Набоков окончил училище, сдав экзамены на несколько недель раньше срока. (Правда, его отметки немного недотягивали до идеальных результатов, которые двадцать лет назад показал на экзаменах Ленин.) В семье планировали, что Владимир и Сергей поступят в английские университеты, но сейчас это вряд ли было возможно. К тому же в Петрограде мальчиков невозможно было бесконечно защищать от реалий революции: назревала повальная мобилизация в Красную армию, и тех, кто не хотел служить, забирали насильно.

За десять дней до выборов Владимир Набоков и его брат Сергей стояли на перроне перед отцом. Тот перекрестил обоих и вздохнул: кто знает, суждено ли еще увидеться. Поезд вез братьев на юг. Солдаты, покинувшие фронтовые окопы, ехали на крышах вагонов, спали в коридорах и пытались вломиться в купе первого класса, в котором заперлись Владимир и Сергей. Ехавшие на крыше мочились в вентиляционные отверстия. Когда солдаты все-таки ворвались в купе, их глазам предстал Сергей, талантливо изобразивший симптомы свирепствовавшей тогда тифозной горячки. Этот обман спас братьев Набоковых.

Свободные выборы состоялись в положенное время, в конце ноября 1917 года; тридцать три миллиона избирателей сказали свое слово. Понадобилось несколько недель, чтобы подсчитать голоса, и, когда обнародовали цифры, оказалось, что подавляющее большинство набрали эсеры; за их главных соперников, большевиков, проголосовала всего четверть избирателей. Прежде популярная партия кадетов получила и того меньший процент поддержки. Разочарованные большевики заявили, что результаты выборов не имеют значения, поскольку вся власть должна быть передана революционным Советам, которые, по их мнению, реально представляли народную волю.

Через неделю после выборов всех членов избирательной комиссии, в том числе и Владимира Николаевича, арестовали. Пять дней их держали в тюрьме, запугивали, а на шестой неожиданно выпустили. В. Д. Набоков понимал, что в столице не добьется ничего, кроме повторного ареста. Жена и трое младших детей уже уехали вслед за Владимиром и Сергеем в Крым. Пришла пора и ему покинуть Петроград.

18 января 1918 года Учредительное собрание, сформированное в результате первых в России всенародных выборов, собралось на свое первое заседание. Пусть партия кадетов и осталась за бортом, но все же теплилась надежда, что выборы прошли не напрасно, что избранные депутаты найдут приемлемый способ продвижения вперед, к постимперской России.

Но большевики потребовали принять написанную Лениным «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Собрание отказалось. Большевики и вступившие с ними в сговор эсеры покинули заседание. На следующий день двери Таврического дворца были заперты, а собрание разогнано. Российская демократия, не успев толком родиться, скончалась.

5

В Крыму кадеты и монархисты оказались фактически на птичьих правах. Мать царя Николая, вдовствующая императрица, жила вместе с несколькими придворными неподалеку от Ялты – более чем скромно.

Номинально полуостров находился под контролем большевиков. Революционным солдатам не терпелось продемонстрировать свою готовность защищать новый порядок от любых оппонентов. Тех, в ком подозревали врагов, связывали, вывозили на баржах в Черное море и выбрасывали за борт.

Прибыв на этот аванпост имперской России, Владимир и Сергей оказались словно бы в совершенно другом мире. На Ривьере, в Петербурге и среди лесов и полей Выры Владимир чувствовал себя как рыба в воде, а здесь все казалось ему чужим. Его приводили в замешательство призывающие к молитве крики муэдзина, рев ослов, миндальные деревья, кусты олеандра и горы, спускающиеся к самому морю. Пришедшее в Крым через тысячи верст с севера грустное письмо от Люси только усиливало ощущение изгнанничества.

Вскоре в Крым приехала Елена Ивановна с Ольгой, Еленой и шестилетним Кириллом, а позже, в декабре, к ним присоединился отец. Семья устроилась на зимовье в семи с половиной верстах от курортной Ялты, в гостевом доме графини Паниной, поместье которой когда-то посещал Толстой. Владимир Дмитриевич, опасавшийся большевистских репрессий, скрывал, кто он такой, но имени не сменил – выдавал себя за специалиста по легочным заболеваниям, доктора Набокова.

В июне тела некоторых жертв прибило к берегу. Той весной в Крым вторглись немцы, и, когда водолазы кайзера Вильгельма взялись прочесывать гавань, в городе заговорили о мертвецах, стоящих под водой. Набоков живо представлял себе, как они колышутся над морским дном, сбившись в толпу, кое-где уже белея костями, воздев руки к невидимому небу, немые, но будто переговаривающиеся друг с другом. В июле он написал стихотворение об утопленниках, в котором его затягивало в подводный мир и он вместе с погибшими давал клятву ничего не забыть.

Насилие внешнего мира постепенно просачивалось в творчество Набокова. В Крыму он все еще обращается в стихах к серафимам и ангелам-хранителям, но уже не может игнорировать перемены, сотрясающие Россию. Эхо этой жестокости отныне всегда будет слышаться в его стихах. В ответ на оду революции – «Двенадцать» Александра Блока, в финале которой Иисус Христос ведет большевистских революционеров на Петроград, – Набоков написал поэму «Двое» – о молодых супругах, которые, спасаясь от двенадцати озверевших крестьян, бегут в метель и умирают.

В июле 1918 года в Екатеринбурге казнят царя, его жену и детей. Ликвидировав одного потенциального врага, большевики сталкиваются с новыми угрозами. Эсеры протестуют против диктатуры большевиков. Идея всемирной пролетарской революции (которая, по мнению Ленина, должна была немедленно начаться в Европе) воплощаться в жизнь не спешит. Прямая дорога к новой России, о которой грезил Ленин, тоже оказывается миражом. На востоке и юге поднимается и крепнет антибольшевистское белогвардейское движение.

В. Д. Набоков садится писать мемуары о недолгой истории Временного правительства, а Владимир и Сергей пропадают в соседнем имении, постепенно примеряясь к эмиграции. Компанию им составляют офицеры-белогвардейцы, отдыхающие в ожидании будущих боев, известный живописец, балетный танцовщик и несколько молодых женщин. Изрядное количество местного вина убаюкивает юношей, служа легкомысленным и чуть нереальным фоном пляжным вечеринкам и пикникам. Стихи сами просятся на бумагу. Воображая, что сердцем он по-прежнему верен Люсе, Набоков не без стыда наслаждается обществом крым-

ских прелестниц. Тем временем совсем рядом мировая война стремительно перерастала в гражданскую междоусобицу.

Переменчивые убеждения бывших солдат империи, либералов, монархистов, социалистов-революционеров всех мастей и независимых казацких полков дорого обходились мирному населению. Закон о черте оседлости ограничивал возможность евреев селиться за пределами ряда областей Украины, Литвы и Польши. Временное правительство сняло эти ограничения, но фронты Гражданской войны проходили по территориям, на которых плотность еврейского населения исторически была самой высокой в стране.

В умах многих русских и европейцев – даже тех, кто не был скован предрассудками, – иудаизм настолько прочно ассоциировался с революционной деятельностью, что защищать многочисленные еврейские поселения становилось все труднее. Появлялись плакаты, изображавшие еврея Троцкого горбоносым чудовищем, командующим расправой над русскими, звучал лозунг: «Бей жидов, спасай Россию!» За годы Гражданской войны белогвардейцы осуществили не одну сотню погромов.

Британский министр вооружений Уинстон Черчилль, уведомленный премьер-министром Ллойдом Джорджем о бесчинствах антисемитов, предупреждал своих так называемых союзников, что продолжение резни обернется для них прекращением поставок оружия и потерей поддержки. Белогвардейцам не уступали в жестокости и украинские сепаратисты. Их борьба за независимость под предводительством Симона Петлюры стоила жизни десяткам тысяч евреев. Даже красноармейцы, вроде бы выступавшие в поддержку угнетенных нацменьшинств и осуждавшие жестокость белогвардейцев, организовали более сотни погромов. Несмотря на создание еврейской милиции и попытки совместной с Красной армией организации самообороны, на Украине, по приблизительным оценкам, в Гражданскую войну было убито от пятидесяти до ста тысяч евреев.

Подчеркнем еще раз: знак равенства между революцией и евреями ставили даже самые беспристрастные умы. В критическом, но честном рассказе В. Д. Набокова о Керенском и других деятелях Временного правительства снова и снова проскальзывают странные оценки и выражения. Он пишет о том, что после революции путь к воротам Думы преграждают «молодые люди еврейского типа», или ни с того ни с сего отмечает, что в Совете старшин Государственной думы было так много евреев, что его «можно было смело назвать синедрионом». Евреи отличаются скрытным или «лакейским» поведением – составляют документы за спиной у В. Д. Набокова или маскируют еврейское происхождение под нейтральными псевдонимами. В другом отступлении Набоков описывает «наглую еврейскую физиономию», принадлежащую «отвратительной фигуре» революционера-большевика.

Евреи входили в круг ближайших друзей В. Д. Набокова. Он, рискуя карьерой, выступал против официального антисемитизма и не боялся правдиво освещать дело Бейлиса. Но Россия настолько пропиталась антиеврейскими настроениями, что даже Владимир Дмитриевич не смог удержаться от навешивания гнусных ярлыков, наряду с большевиками обвиняя в революционной жестокости евреев.

Один из ближайших товарищей Набокова по Тенишевскому училищу – еврей Самуил Розов – позднее вспоминал, что в отношении его друга к вопросам крови и веры никогда не было предвзятости. Однако в 1919 году в дебатах о революции на всех уровнях возобладала тенденция противопоставлять евреев «настоящим» русским.

6

Пока на Украине бушевали погромы, в России укоренялся более практичный и современный вид расправы. Побывав в британском концлагере, Троцкий проникся «жгучей ненавистью к англичанам», что не помешало ему взять на вооружение их методы. На третьем

месяце командования Красной армией Троцкий предложил сгонять военнопленных в концентрационные лагеря, а через несколько дней дополнил свой проект пунктом, согласно которому в подобные заведения следовало заключать и представителей буржуазии, используя их на «черных» работах: «чистить бараки, лагеря, улицы, рыть траншеи и т. д.». Примерно то же самое происходило в лагерях союзников, в том числе канадцев. Троцкий не забыл, что в Амхерсте ему приходилось «подметать полы, чистить картошку, мыть посуду и убирать в общем туалете».

Ленин тоже быстро понял, что концентрационные лагеря можно с успехом использовать в качестве инструмента революции. В телеграмме, отправленной на место антибольшевистского восстания, он призвал к массовому террору против оппонентов и посоветовал запереть подозрительных субъектов «в концентрационный лагерь вне города».

После выхода России из войны многих военнопленных и «враждебных иностранцев» освободили. Концентрационные лагеря со своим коммунальным бытом, неофициальным статусом и опытом принудительного труда перешли в распоряжение ЧК – новой тайной полиции, одной из главных задач которой было сеять среди населения страх.

За зверскими методами дело не стало, но их оказалось недостаточно, чтобы подавить волнения. Осенью 1918 года с подачи Ленина поднялась первая волна красного террора. Повсеместно начались массовые казни и высылка в «особые лагеря».

В колониях имперских держав в лагерях по большей части держали представителей местного населения. Когда лагеря перекочевали в Европу, в них, за редким исключением, заключали иностранных граждан и военнопленных. Россия вписала в историю концлагерей новую главу – при власти большевиков основной контингент интернированных составили собственные граждане. Позднее в романе «Под знаком незаконнорожденных» Набоков сформулирует это так: «Хотя система удержания человека в заложниках так же стара, как самая старая из войн, в ней возникает свежая нота, когда тираническое государство ведет войну со своими подданными и может держать в заложниках любого из собственных граждан без ограничений со стороны закона».

В зрелом возрасте Набоков будет говорить об эре кровопролития и концентрационных лагерей, начавшейся после захвата власти большевиками. Вину за появление в России первых после революции лагерей он будет упорно возлагать на Ленина и в той или иной форме возвращаться к этой теме в своих произведениях на протяжении следующих пятидесяти лет.

7

В дни короткого затишья перед бурей Владимир Набоков гонялся по черноморским взгорьям за бабочками. Однажды, когда он выглядывал в кустах редкие экземпляры, перед ним возник вооруженный солдат. Он заподозрил, что бабочки – лишь предлог для совсем иной, куда менее невинной деятельности. Что, если парень подает сачком сигналы стоящим на рейде британским судам? Однако юный энтомолог – тощий, кожа да кости, – сумел спасти и себя, и сачок. Видимо, Набоков был достаточно убедителен: Бойд отмечает, что в конце концов солдат даже вернул ему пойманных бабочек.

В стихах Владимира, прежде посвященных исключительно делам сердечным, зазвучала тема истории, вершившейся у него на глазах. Набокова стали печатать местные газеты. Над страной сгустились тучи, но здесь, в солнечном Крыму, все еще сохранялась иллюзия, что от страшного грядущего можно спрятаться. Владимир ощущал свое духовное родство с Пушкиным, сто лет назад сосланным в те же места. В калейдоскопе романтических встреч и всевозможных развлечений он нашел время для сценического дебюта в маленьком, но пользовавшемся популярностью загородном театре. Он слал письма Люсе, не зная, что она уже уехала из Петрограда, а она писала ему, удивляясь, почему он не отвечает. Потом письма

нашли адресатов, и Набоков задумался, не вступить ли в ряды Белой армии, чтобы вместе с ней добраться до украинского хутора, где теперь жила Люся.

Владимир Дмитриевич называл Крым медвежьим углом, но жилось там не так уж плохо. Осенью 1919 года семья переехала в Ливадию – бывшую царскую резиденцию, поближе к городу, чтобы младшие дети могли ходить в школу. Набоков получил возможность пользоваться библиотекой – и в доме, и в Ялте.

Немцы (позднее к ним присоединились войска союзников) удерживали Красную армию на подступах к полуострову, благодаря чему беспечная жизнь Владимира Набокова продлилась еще год. В ноябре 1918 года было сформировано Крымское краевое правительство, и отец Набокова вернулся в политику, заняв пост министра юстиции. Краевое правительство просуществовало всего несколько месяцев, после чего трения между союзниками, деморализация армии и нестабильность молодой демократии привели к повторению краха Временного правительства, только в уменьшенном масштабе. Девятнадцатилетнему Владимиру запомнилось, что отец называл себя министром «минимального правосудия». В самом деле, на юге, где краевое правительство действовало под защитой Добровольческой армии, вершить справедливый суд и привлекать к ответственности военных преступников было трудно, если вообще возможно. Кроме того, на В. Д. Набокова – члена правительства, руководимого «еврейскими и татарскими элементами», многие смотрели косо. Все его успехи свелись к некоторым преобразованиям в области местной судебной системы.

Владимира Набокова окружала сказочная красота «Тысячи и одной ночи», но романтика на глазах истончалась до полной прозрачности, открывая зияющую бездну будущего. Родителям все труднее было оберегать сына; жестокость мира и попытки спастись от нее вскоре сделались лейтмотивом жизни Набокова и доминирующей чертой его творчества.

В крымских театрах и кафе еще собирались офицеры несущей крупные потери Белой гвардии. Но скоро сюда нагрянет Красная армия, и беженцам придется спешно покидать временное пристанище, чтобы рассеяться по всему миру – от Европы до Китая и Америки.

Удастся это не всем. Ближе к концу зимы на севере Крыма кавалерийский отряд двоюродного брата Набокова Юрия Рауша фон Траубенберга напоролся на большевистский пулемет, оборвавший его короткую жизнь. Война все-таки дотянулась до девятнадцатилетнего Набокова – Владимир нес гроб родственника и лучшего друга, погибшего от руки соотечественников.

Набоков все еще колебался, стоит ли записываться в Добровольческую армию, хотя белые уже теряли контроль над Крымом. До окончательного краха им предстоял ряд ярких побед и драматических поражений, но судьба детей, рожденных той страшной зимой – в их числе был и Александр Солженицын, – уже предопределилась. Они будут расти в стране, вычеркнувшей из своей истории память о царях и Российской империи.

Ситуация быстро ухудшалась, и Набоковы отправились на запад, к Севастополю. Автомобиль петлял по горному серпантину, так что пассажиров нещадно тошнило, особенно Сергея и Елену, которые ехали, свесив голову из окон. Пробыв два дня в портовом городе, Набоковы вместе с семьями министров краевого правительства сели на корабль, но отплыть не успели – из-за ложных обвинений в нецелевом использовании Севастопольского фонда их вынудили сойти на берег. На грузовое судно «Надежда» они попали, когда порт уже был захвачен большевиками. Набоковы – Владимир Дмитриевич и Елена Ивановна, Владимир и Сергей, Ольга, Елена и Кирилл – спаслись; с ними была гувернантка и компаньонка Евгения Гофельд, с 1914 года ведавшая домашним хозяйством.

У них почти ничего не оставалось, кроме горстки драгоценностей, которые горничная сгребла с туалетного столика, когда семья бежала из Петрограда. Украшения, с которыми играл маленький Володя, некоторое время хранились в закопанной в землю бутылке. Теперь

они лежали в несессере из свиной кожи, когда-то сопровождавшем Елену Ивановну в свадебное путешествие.

Пока «Надежда» зигзагами уходила в открытое море под пулеметным огнем большевиков, Набоков с отцом играли в шахматы. Владимир, уже испытавший горечь разочарования от несовпадения идеальных представлений о жизни и реальной действительности, понимал, что человеку порой приходится выбирать из двух зол. Что сулит ему будущее? На этот вопрос у него не было ответа.

Всего за несколько дней до своего двадцатилетия Владимир оставил родину, стремительно погружавшуюся в пучину бед: безумие большевиков, гангрену лагерей и оголтелый антисемитизм. Пережитое навсегда впечатается в его память, создав основу формирования его уникального внутреннего мира.

Глава четвертая Изгнание

1

Путешествие по Черному морю длилось недолго, но за этот срок Владимир Набоков успел понять, что значит быть изгнанником. Пассажиры «Надежды» располагали только тем, что взяли с собой на борт; кормить и поить их никто не собирался. Что ж, все лучше, чем оказаться в захваченном большевиками Севастополе! Кровати и матрацы мгновенно превратились в предметы роскоши. Набоков устроился на скамейке, а его тринадцатилетняя сестра Елена спала на снятой с петель двери. Место их ночлега кишело вшами, а питаться приходилось собачьими галетами. Набоков с отцом по очереди пользовались раскладной резиновой ванной наподобие той, которую Владимир Дмитриевич одиннадцать лет назад брал в тюремную камеру. Сергей, отличавшийся еще большей брезгливостью, взял с собой еще одну ванну и однажды на спор искупался в стакане воды.

Переполненный беженцами Константинополь не спешил принимать очередных русских. Прождав два дня в порту, пассажиры «Надежды» так и не получили разрешения сойти на берег. Корабль направился в Афины. В Пирейской бухте его еще двое суток продержали в карантине. Наконец, в день своего двадцатилетия, Набоков ступил на чужую землю.

За три недели, в течение которых семья приходила в себя в Афинах, Владимир успел завести три романа. Потом была дорога в Марсель, откуда Набоковы поездом выехали на север, в Париж. Здесь, как и в Константинополе, Набоков обнаружил, что внезапно попал в число «подозрительных» и «нежелательных» лиц. Поток русских эмигрантов, успевших перебраться в Европу годом или двумя ранее, произвел не самое лучшее впечатление на коренных жителей, которые стали опасаться, что бежавшие от большевиков переселенцы задержатся у них слишком надолго.

Набокову недвусмысленно указали на его новый статус, когда они с Евгенией Гофельд отправились в ювелирную лавку Картье на улице Рю де ла Пэ. Владимир намеревался продать материнские драгоценности – единственный источник средств к существованию семьи. Но к маю 1919 года за белоэмигрантами закрепилась далеко не лучшая репутация, и приказчики вызвали полицию. Возможно, их смутило великолепие жемчуга Елены Ивановны в сочетании с «невероятным» нарядом ее сына. К счастью, Набокову и Гофельд удалось убедить приказчиков отпустить их до прихода жандармов. Этому жемчугу предстояло кормить Набокова в первые годы его студенчества.

Перебравшись через Ла-Манш, Владимир Дмитриевич осел в Англии. Он мучительно размышлял о том, что противопоставить успехам Ленина и Троцкого и как убедить Англию расширить союзное вторжение в Россию. Написал очерк о погромах на юге России, утверждая, будто бесчинства в основном творили красные, тогда как офицеры Добровольческой армии делали все, чтобы их остановить. Остальные аргументы были направлены на опровержение пресловутого тождества между большевизмом и еврейством, незаметно просочившегося и в его собственные статьи. Соглашаясь, что среди лидеров большевистского движения много евреев, В. Д. Набоков категорически не соглашался с утверждением, что большевики представляют весь еврейский народ, и призывал еврейскую общину России присоединяться к борьбе за русскую демократию.

В Лондоне Владимир Дмитриевич вместе с одно-партийцем Павлом Милюковым основал англоязычный журнал «Новая Россия» (*The New Russia*), на финансирование которого ушла очередная порция драгоценностей жены.

Осенью Владимир Набоков поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета. Чтобы не сдавать вступительных экзаменов, он предъявил комиссии аттестат своего бывшего тенишевского одноклассника Самуила Розова (как полагают исследователи, без злого умысла – просто чтобы показать, что у них с Розовым были одинаковые оценки). Сергея отправили в Оксфорд, но он там не прижился и уже в следующем семестре присоединился к брату в Кембридже. Набоков начал с естественных наук, Сергей – с французской литературы. После перевода Сергея из Оксфорда в Кембридж Владимир, который все явственнее ощущал себя писателем, тоже переключился на литературу.

В Кембридже братья явно сблизились. Немало времени они проводили на теннисном корте: Владимир был атлетичнее, однако левша Сергей, несмотря на слабую подачу и отсутствующий бэкхенд, ловко отбивал мячи соперника. Сравнивая братьев, их общая приятельница тех лет в воспоминаниях называла Владимира оболстителем со «злой ноткой в голосе», а Сергея – белокурый денди с падающей на глаза прядью, который ходил на премьеры Дягилевского русского балета в «развевающейся театральной накидке, держа в руках трость с набалдашником».

Набоков недурно боксировал и был голкипером футбольной команды «Тринити», благодаря чему британские студенты охотно приняли его в свой круг. Но более всего его занимала поэзия, главными темами которой по-прежнему оставались женщины и Россия. Да и товарищей он выбирал в основном из русской знати: дружил с графом де Калри, одним князем в изгнании и соседом по комнате Михаилом Калашниковым.

Хотя в письмах к матери Набоков обсуждал только семейные дела и политику, куролесил он изрядно. В кампусе ему грозили штрафами за хождение по газонам. Он без конца затевал драки с каждым, кто, по его мнению, позволял себе третировать русскоязычных студентов. Уважая вековую традицию, согласно которой первокурснику положено сумасбродничать, Владимир сломал у домовладелицы два стула, не считал нужным платить портному и размазывал по стенке еду.

Но сама жизнь заставляла его взрослеть. Владимир, как и его русские друзья, расходился во взглядах с прогрессивными британскими студентами. Пока он учился в Кембридже, Г. Дж. Уэллс (которого Владимир Дмитриевич в 1914 году принимал у себя в Петербурге) ездил к Ленину и нахваливал перед Петроградским советом большевизм. Сын Уэллса Джордж, тоже участвовавший в поездке, вызвал Набокова на спор – сыновья отстаивали взгляды отцов. В конечном итоге молодые люди перешли на крик, Набоков окрестил всех социалистов мерзавцами, а присутствовавший при этом Калашников призвал «бить жидов».

В письме к матери Набоков назвал реакцию соседа по комнате смехотворной и достойной сожаления; в том споре, надо сказать, не блеснул ни один из участников. Калашников, как назло, подтвердил по меньшей мере один стереотип, который наверняка сложился у англичанина в отношении белоэмигрантов, – и крыть тут было нечем, ибо товарищ Набокова в самом деле не отличался мощным интеллектом. Те два года, что они жили вместе, Калашников то грозил сжечь книги Набокова, то разглагольствовал на тему «Протоколов сионских мудрецов».

Набоков скоро понял, что антисемитизм не ограничивается пределами России. В книге «Евреи», написанной, когда Набоков учился в Кембридже, и опубликованной в 1922 году, Хилэр Беллок, писатель, бывший член парламента и один из ведущих историков своего времени, попытался разобраться в том, что называл «еврейским вопросом». Его рассуждения демонстрируют, что в ту эпоху глобальный антисемитизм проник и в британскую научную мысль.

Объясняя причины и следствия «еврейской революции» 1917 года, Беллок отмечал, что бурскую войну, разразившуюся в прошлом десятилетии в Южной Африке, «провоцировали и разжигали еврейские деловые круги». Он считал, что постепенно развивается «монополия еврейских международных новостных агентств» и число евреев в «руководящих органах Западной Европы» в пятьдесят, а иногда и в сто раз превышает адекватную пропорцию представительства. Беллок приходил к заключению, что евреи отчасти сами виноваты в чинимых над ними расправах, поскольку ведут себя пренебрежительно по отношению к окружающим, действуют обманом, исподтишка и не желают признавать очевидных доказательств еврейского заговора.

И это еще не самое ужасное, что в то время можно было услышать от вроде бы вдумчивого аналитика, в целом сочувствовавшего доле евреев. В последующие годы появятся куда менее деликатные высказывания на эту тему.

Что до Набокова, то он, если ему приходилось выбирать между британскими сторонниками большевиков и калашниковыми, держался русских. В июне он вместе с братом Сергеем и соседом по комнате уехал на каникулы в Берлин, где принялся ухаживать за двоюродной сестрой Калашникова Светланой.

Светлане, как прежде Люсе, посвящались романтические стихи, но до любви на сей раз было гораздо дальше. Владимира одолевала ностальгия по родным местам. Если в Петербурге его называли иностранцем, то в Лондоне он мучительно чувствовал себя русским. Он цеплялся за все русское. Нашел «Толковый словарь» Даля и работал с ним, чтобы не забывать родной язык. В письмах к матери с тоской, в подробностях, описывал Выру, будто память могла проложить для них дорогу домой, хотя у него уже тогда закрадывались подозрения, что обратного пути нет. Владимир ни дня не мог прожить без поэзии и выражал свою преданность родине тем, что «сочинял стихи на никому не известном наречии о заморской стране».

2

На втором году скитаний родители Набокова переехали в Германию, оставив в Англии старших сыновей, которым предстояло еще два года учиться в Кембридже, но жизнь в послевоенном Берлине была не в пример дешевле лондонской, кроме того, открывала больше возможностей для активной деятельности. Владимир Дмитриевич планировал найти единомышленников и совместными усилиями издавать газету. Быстро заняв место идейного лидера в берлинской общине русских эмигрантов, Набоков-старший той же осенью стал одним из основателей газеты «Руль», которая вскоре сделалась самым популярным в Берлине русскоязычным ежедневным изданием.

Первый опыт художественной прозы Владимира Набокова-младшего оказался тесно связан с событиями, потрясшими Россию. В январе 1921 года «Руль» опубликовал его рассказ, в котором лесные духи из русских сказок сталкиваются с новой большевистской реальностью: поля завалены обезглавленными гниющими трупами, по рекам плывут мертвецы... Нечистой силе, сокрушается леший, пришлось покинуть родные места. Рассказ, короткий и незамысловатый, может служить свидетельством того, что с первых шагов писателя Набокова миф и фантазия в его творчестве переплетаются с ужасом современности.

К тому времени, как «Нежить» появилась в печати, остатки Белой армии перебрались на другой берег Черного моря. Сотни тысяч пали в бою. Еще больше умерли от болезней — жертвы одних только эпидемий исчислялись миллионами. Война еще догорала, искря стычками и мятежами, но к 1921 году военный конфликт уже перестал быть главной бедой России.

Подходил черед новых трагедий. Тактика выжженной земли, которую обе стороны применяли на протяжении последних трех лет, в сочетании с неурожаем привела к полному истощению русской житницы. В 1921 году в стране настал жестокий голод, увеличивший число жертв.

Максим Горький от имени большевиков обратился к миру с просьбой о поддержке. Отчаянное положение вынудило большевиков создать Всероссийский комитет помощи голодающим. В Россию снова вернулся Международный Красный Крест, правда, в отличие от военных лет он не занимался концентрационными лагерями (русские лагеря теперь были для него закрыты), а пытался облегчить участь голодающих. Зов о помощи был услышан по всему миру. Елена Ивановна тоже собирала деньги для умиравших от голода соотечественников, хотя понимала, что ее семье путь на родину заказан.

Развороты британских газет запестрели просьбами о пожертвованиях, и деньги потекли рекой. Активно включилась в работу Американская администрация помощи (АРА) – негосударственная организация, возглавляемая Гербертом Гувером. Большие средства сумел собрать Фритьоф Нансен и многие другие. И все же, несмотря на помощь из-за границы, гуманитарная катастрофа обрекла на мучительную смерть по меньшей мере пять миллионов человек.

В студенческие годы Набоков постоянно слышал об ужасах, творящихся на родине; при этом окружавшие его социалисты восхищались советским государством как примером нового, справедливого общества. Попытки Владимира переубедить однокашников оканчивались ничем. Готовясь на первом курсе к дебатам по большевизму, Набоков заучил наизусть отцовскую статью, но собственных доводов привести не сумел и был легко разбит оппонентами. Ему еще только предстояло обрести незаемные мысли и облечь их в слова, принадлежащие лишь ему.

Наступил 1922 год, и мир замер на пороге новой эпохи. Лидеры ведущих стран мира встретились на Вашингтонской конференции об ограничении морских вооружений и подписали Договор пяти держав. Главу Индийского национального конгресса Махатму Ганди, создателя доктрины гражданского неповиновения, посадили в тюрьму за подстрекательство к борьбе за независимость Индии. Зарождающаяся киноиндустрия выпустила первый документальный сюжетный фильм «Нанук с Севера». В Англии оказались не готовы опубликовать откровенно эротическую книгу «Улисс» Джеймса Джойса, но отрывки из нее увидели свет в небольшом американском обзоре, и в феврале Сильвия Бич решила попытать счастья с этим романом в Париже, где он стал первым изданием, вышедшим под маркой магазина «Шекспир и Ко».

Германию лихорадило. Страна пережила собственную революцию и гражданский конфликт. В результате столкновений погибли свыше тысячи двухсот человек. В Берлине становилось неспокойно. Установившаяся Веймарская республика вела немцев к демократии, но суровые условия Версальского мира вызвали глубокий экономический кризис, недовольство всех политических сил и растущий интерес к молодому оратору по имени Адольф Гитлер.

В 1922 году Гитлер уже публично клеймил большевиков: эти гнусные еврейские искусители, по его словам, угрожали Германии. Правда, на тот момент к небольшой маргинальной группе нацистов никто всерьез не прислушивался; чего Европа боялась, так это кошмара политических убийств. Точечная ликвидация оппонентов – социалистами-революционерами, Ирландской республиканской армией, немецкими реакционерами правого толка и левыми анархистами – оставалась популярным инструментом политической борьбы. Летом ультраправые германские экстремисты убили политика и промышленника еврейского происхождения Вальтера Ратенау, спровоцировав новый виток политического насилия и экономической нестабильности.

Шпионы были кругом. Фрэнк Фоли, днем скромный служащий паспортного отдела посольства Британии, по ночам преображался в шефа берлинской резидентуры британской разведывательной службы МИ-6. Вилли Леман, руководитель контрразведывательного отдела полиции-президиума Берлина, на проверку оказался оплаченным информатором советской разведки. В одной из докладных в Москву Берлин назван оплотом советской разведки за рубежом, в числе главных задач которого – внедрение в многочисленные антибольшевицкие организации города, вербовка наводнивших город бывших царских офицеров и заманивание эмигрантов на восток.

Не отставала и пресса, в том числе пропагандистская. Казалось, что у каждой партии, каждой микроскопической организации имеется собственная газета, занимающая в политическом диапазоне свое место, от мягкого продвижения господствующей идеологии до яростных призывов к анархии.

Павел Милюков, товарищ Владимира Дмитриевича по кадетской партии, став редактором парижских «Последних новостей», публично препирался с одно-партийцем по поводу стратегии освобождения России из большевистских тисков. Спор продолжался не один месяц, делаясь все более яростным. Яблоком раздора для обоих политиков стало разное понимание истории: Милюков поддерживал эсеров и отчасти марксизм, тогда как Набоков отвергал учение о классовой борьбе и идею присоединения к международному революционному фронту. При всей неосуществимости замыслов В. Д. Набокова о военной интервенции в Россию подход Милюкова отличался не меньшей оторванностью от реальности. К концу 1921 года эсеры больше не стремились к союзу с кадетами. Многомесячные попытки Милюкова навести с ними мосты закончились тем, что русское руководство партии эсеров открыто отвергло его «ухаживания», назвав его жалким осколком кадетской партии, который «никого не представляет». Нет, эсеры не набивали себе цену: им хватало того, что большевики постоянно пытались обвинить их в близости к монархистам и контрреволюционерам, и они не собирались играть на руку оппонентам.

Словом, для бессильных изгнанников союзы с иными партиями и чужими правительствами оставались недостижимой мечтой. С точки зрения практической пользы их дебаты о будущем России могли с тем же успехом вестись на другой планете.

Должно быть, коренным берлинцам эмигрантская община, в которой жила семья Набоковых, тоже представлялась явившейся откуда-нибудь с Марса. Многие русские снимали жилье у некогда зажиточных военных семей в районе Вильмерсдорф, рядом с городским зоопарком. Там и образовался центр их землячества. Переселенцы по большей части держались особняком и не горели желанием вливаться в местное общество. Единственное, чего действительно хотели русские, так это поскорее уехать на родину. Они создали остров антибольшевистского сопротивления, но фронта, на котором они могли бы сопротивляться, не существовало. Изгнанникам оставалось только спорить, что делать дальше, и ждать нового катаклизма, который их либо уничтожит, либо позволит вернуться домой. Вероятность возвращения таяла с каждым годом, но разве можно винить людей в том, что они надеялись на воскрешение привычного мира? Такое не раз случалось в истории.

3

На последнем курсе Кембриджа Набоков продолжал будоражить полицию своими выходками (бил фонари и запускал ракеты), так что тьютору пришлось напомнить ему, что время полезнее проводить в библиотеке. Кроме того, Набоков на спор взялся за французский перевод для отца, но усердия в работе не проявил. Тем не менее по итогам первой части экзаменов на присуждение степени бакалавра Владимир заслужил денежную премию (составившую два фунта).

Владимир Дмитриевич держал сына в жестких рамках, но очень дорожил его обществом. В оживленных беседах они касались множества тем: от писательского юмора до шахмат, тенниса и бокса. В. Д. Набоков помогал сыну на его творческом пути, продолжая публиковать поэзию и прозу Владимира в газете «Руль» и подыскивая ему работу в «Слове», русскоязычном издательстве, основанном при его участии в Берлине.

Когда в 1922 году Владимир приехал в Германию на пасхальные каникулы, они с отцом подготовили к публикации подборку его стихов под псевдонимом Владимир Сири́н. Райская птица Сири́н с человеческой головой чарует своим пением, но встреча с ней опасна для смертных. Набокову она представлялась жар-птицей, воплощением души русского искусства.

В последний четверг марта В. Д. Набоков не стал задерживаться в редакции «Руля» и поспешил домой, чтобы поужинать с сыном. После ужина затеяли шуточную борьбу. Переодеваясь ко сну, отец и сын переговаривались через открытые двери соседних комнат, потом, слово за слово, принялись вспоминать подробности из постановки оперы «Борис Годунов». Обсудили Сергея и его «странные» гомосексуальные наклонности. Владимир Дмитриевич почистил башмаки и помог сыну положить под пресс брюки. Уходя спать, отец просунул в щель раздвижных дверей газеты, так что сын не видел ни лица его, ни даже руки. Набоков потом вспоминал, что жест этот показался ему жутким, призрачным.

Следующим вечером Владимир Дмитриевич пошел на собрание в Берлинскую филармонию, чтобы послушать выступление Павла Милюкова. Почти год вели они свои горячие публичные споры. Желая сделать шаг навстречу, отец Набокова в утренней газете приветствовал приехавшего в Берлин Милюкова и в память о связывающем их общем прошлом призвал оппонента к примирению. Ответа не последовало.

28 марта Милюков, обращаясь к почти полутора-тысячной аудитории, собравшейся в изысканном концертном зале, говорил о роли, которую в освобождении России может сыграть Америка. Через час он объявил короткий перерыв. Оратор направился к выходу, в зале зашумели.

В первом ряду встал какой-то человек, вытащил револьвер и несколько раз выстрелил в покидавшего сцену Милюкова, крикнув: «За царскую семью и Россию!» Милюков упал на пол – то ли сам, то ли его повалили. В. Д. Набоков бросился к стрелявшему, чтобы его обезоружить, и они с подросевшим Каминкой скрутили злоумышленника. Каминка отлучился узнать, что с Милюковым, а Владимир Дмитриевич остался держать стрелка.

В общей сумятице на сцену выскочил еще один террорист и трижды выстрелил отцу Набокова в спину. Две пули попали в позвоночник, третья пронзила левое легкое и сердце. Общим счетом прозвучало двенадцать выстрелов, и пострадали еще семь человек. «Любопытно, что всем попали либо по коленям, либо по лодыжкам», – ошибочно утверждалось в газете *The New York Times*. Потерявшего сознание Владимира Дмитриевича перенесли в соседнюю комнату.

Пятеро находившихся в зале полицейских в штатском попытались арестовать первого стрелка, однако увязли в толпе, принявшей их за пособников убийц. Офицеры в штатском вызвали обычных полицейских, которым русские наконец передали задержанного.

Арестовать обоих нападавших удалось только чудом. Толпа была так увлечена ловлей первого стрелка, что второй чуть не сбежал, потихоньку пятясь к выходу, пока кто-то его все-таки не заметил. Первый из нападавших, которого схватили журналисты, разразился ядовитой тирадой о евреях. Пока полиция тащила арестованного к выходу, толпа его чуть не линчевала.

Немедленно послали машину за родственниками, но еще до приезда Владимира и Елены Ивановны полицейский врач объявил, что Владимир Дмитриевич скончался.

Офицеры из берлинского отдела по расследованию убийств допросили нападавших прямо в зале и, выяснив, что совершено преднамеренное убийство, вызвали политическую полицию. Арестованные Петр Шабельский-Борк и Сергей Таборицкий оказались бывшими офицерами-кавалеристами царской армии. Жили они в бедности и работали переводчиками в одном из мюнхенских издательств. В Берлин приехали практически с пустыми руками, но сохранив фотографию покойной русской императрицы, и поселились в недорогой гостинице.

Шабельский-Борк, щедушный человек с дикими глазами, винил Милюкова во всех бедах России и не скрывал, что годами охотился на него. Если бы не Милюков, считал он, царь заключил бы сепаратный мир с Германией и предотвратил Февральскую революцию.

30 марта на панихиду в часовне бывшего российского посольства на берлинском бульваре Унтер-ден-Линден пришли сотни людей. Церковь не могла всех вместить, и во дворе посольства образовалась огромная толпа. Двадцатидвухлетний Владимир Набоков стоял рядом с матерью, Сергеем и остальными детьми. Присутствовали министр иностранных дел Германии, послы, преподаватели, доктора, журналисты, а также члены российского Красного Креста, немецкого Красного Креста и возглавлявшейся В. Д. Набоковым организации помощи российским беженцам, последний финансовый отчет которой был опубликован в «Руле» на следующее утро после его смерти.

Прощание с Владимиром Дмитриевичем состоялось в апрельский День смеха в русской православной церкви Святых Константина и Елены на окраине города. Внутри тесного каменного здания с куполами-луковками, возносящими к небу три креста, люди скорбно засыпали открытый гроб, в котором лежал В. Д. Набоков, блеклыми цветами. Черты покойного заострились, лицо казалось чужим.

Набоков смотрел на отца в последний раз. Какая дьявольская ирония судьбы: через три года после того, как Владимир Дмитриевич спасся от ареста и верной расправы на родине, за границей его застрелил человек, покушавшийся на другого.

5 апреля большая фотография Владимира Дмитриевича Набокова, одного из самых выдающихся представителей петербургской культуры, появилась на первой странице «Руля» и разошлась более чем по тридцати странам мира. Соболезнования приходили из Берлина, Парижа и Праги, отца Набокова называли «светлым паладином свободы». Союз евреев России провел специальное собрание, чтобы почтить память В. Д. Набокова, и попросил разрешения послать на похороны делегацию.

Отца Набокова поминала в храмах и в печати чуть ли не половина русской общины Берлина, от знаменитого Ивана Бунина до бывших послов и министров. Соболезнования выразила и Ольга Леонардовна Книппер-Чехова.

В день убийства Владимир Дмитриевич протянул руку дружбы Павлу Милюкову. После смерти бывшего оппонента тот всю ночь просидел возле тела, а наутро говорил о Набокове в самых теплых выражениях. Убийцы, писал он, действуя из соображений ложного национализма, лишили жизни «русского патриота, который был бесконечно выше их ничтожно узкого кругозора».

Убийство В. Д. Набокова поставило точку в его дебатах с Милюковым. Азартные споры двух кадетов об эсерах, казалось, утратили смысл. Милюков еще не знал, что Ленин инициировал новую волну террора, направленную в том числе на ликвидацию поддержки эсеров и «милюковцев» внутри страны.

В европейской и американской печати поползли слухи, что всех арестованных социалистов-революционеров тайно казнят. Но всего за несколько дней до смерти В. Д. Набокова, уступив давлению мировой общественности, требовавшей от Советской России жеста доброй воли, политбюро ЦК РКП(б) сделало сенсационное заявление: большевики предадут своих политических противников суду и заседания будут публичными.

Слушания по этому делу взбудоражат русских эмигрантов, в какой бы точке земного шара те ни жили, и прикуют к себе взоры всего мира. А об участи, которая в конце концов постигнет обвиняемых, Набоков не забудет еще долгие сорок лет.

4

Судебный процесс по делу о «контрреволюционной деятельности» партии правых эсеров открылся в Москве 8 июня. Заседания проходили в Колонном зале Дома Союзов (некогда Благородного собрания), в бывшем бальном зале, описанном Пушкиным в «Евгении Онегине». Несколько десятилетий спустя Набоков упомянет о нем в комментариях к гениальному роману в стихах. Взмывающие ввысь колонны и хрустальные люстры служили напоминанием о потерянном мире, все стремительней уходящем в прошлое. Стол, водруженный на покрытую красным ковром сцену, был обращен к сотням стульев; золотые буквы на красном транспаранте сообщали, что народный суд стоит на страже народной революции.

Красноармейцы в дверях зала суда проверяли пропуска у заранее отобранной тысячи человек. Информацию о процессе, непрерывно поступающую по телеграфу и от работавших на месте европейских корреспондентов, печатали на страницах национальных и русских эмигрантских газет по всему свету. Виднейшие социалисты мира приехали в Москву представлять интересы подсудимых.

Решение суда было оговорено с членами зарубежного крыла ПСР заранее. Лидерам II Интернационала надлежало забыть свою неприязнь к большевизму — за это двенадцати ключевым обвиняемым не вынесут смертных приговоров и позволят самостоятельно выбирать адвокатов.

Однако переговорщики не согласовали этих условий с Лениным, который в открытую попрекал их на страницах «Правды». В Европе возникла паника, впрочем, она улеглась, когда европейским адвокатам все-таки позволили вести защиту.

В первый же день один из ответчиков попытался оспорить правомочность суда. После нескольких часов прений, грозивших, по свидетельству одного из репортеров, повторить весь ход русской революции, обвинения все-таки были зачитаны. Члены трибунала открыто заявили, что судить беспристрастно врагов революции не могут, но их предвзятость не является препятствием, ибо она «служит интересам революции». Адвокатам и их подзащитным позволяли в определенных рамках критиковать действующую власть, но вызывать свидетелей не разрешали. Трибунал отказал им также в праве приобщать к делу доказательства.

Лишь на вторую неделю слушаний, осознав, что их присутствие бессмысленно, зарубежные адвокаты отказались поддерживать своим участием видимость честного суда. Они прекратили заниматься делом и на следующий день не явились на процесс. В новостях появились сообщения, что Вандервельде якобы убили, но на самом деле адвокатов просто задержали. Им не выдавали выездных виз и только после того, как они объявили голодовку, позволили покинуть Россию.

В пику адвокатам был организован «народный» протест. Толпа демонстрантов ворвалась в зал суда с требованием смертной казни для эсеров. Казалось, что с обвиняемыми разделяются на месте. Когда оставшиеся адвокаты пожаловались, что подобные оскорбления и обличительные тирады создают у суда предвзятое мнение об их подзащитных, то услышали в ответ, что рабочие не юристы и хорошим манерам не обучены. Председательствующий на процессе Георгий Пятаков еще раз повторил, что беспристрастным этот суд быть не может. Адвоката, упрекнувшего суд в предвзятости, бросили в тюрьму. Газетные заголовки по всему миру кричали о неизбежности смертной казни для подсудимых.

Эсеры, лишившись не только европейских, но и русских защитников, не сдавались. Тех, чья юность прошла по тюрьмам и каторгам, запугать было не так-то легко. Обвиняемого

Абрама Гоца уже в 1907 году приговаривали к смерти, но затем смягчили наказание и отправили в сибирскую ссылку, из которой он освободился лишь после революции. Однако этот процесс отличался от прежних принципиально: здесь одни революционеры судили других.

Максим Горький обратился с письмом к Алексею Рыкову, прося передать его мнение Троцкому и другим вождям: «Если процесс социалистов-революционеров будет закончен убийством, это будет убийство с заранее обдуманым намерением, гнусное убожество... Я тысячекратно указывал на бессмыслие и преступность истребления интеллигенции в нашей безграмотной и некультурной стране». На одном из последних заседаний, явно с целью получить предлог для смягчения приговора, обвиняемым предложили обратиться к суду о помиловании, отречься от партии и этим спасти себе жизнь. Ни один из двенадцати не попросил пощады.

А что же граждане Страны Советов? Волновало ли их происходящее? Если верить корреспонденту *The New York Times* Уолтеру Дюранти, освещавшему процесс 1922 года, то нет. Москвичи, писал Дюранти, устали от политики и думают только о делах насущных. Дюранти, который тогда уже слыл одним из авторитетнейших западных журналистов, работающих в столице РСФСР, высказал мнение, что власти, конечно, могут сгонять людей на митинги и устами демонстрантов требовать смертной казни, но в действительности до подсудимых никому нет дела: «Когда-то крестьяне шли под эсеровские знамена, потому что эсеры обещали им землю. Теперь, получив землю от большевиков, они хотят наслаждаться ее плодами в мире и достатке. Если Советы дадут им это, то могут расстрелять хоть тысячу революционных вождей – крестьянам все равно».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.